

Протоиерей Андрей Ткачев

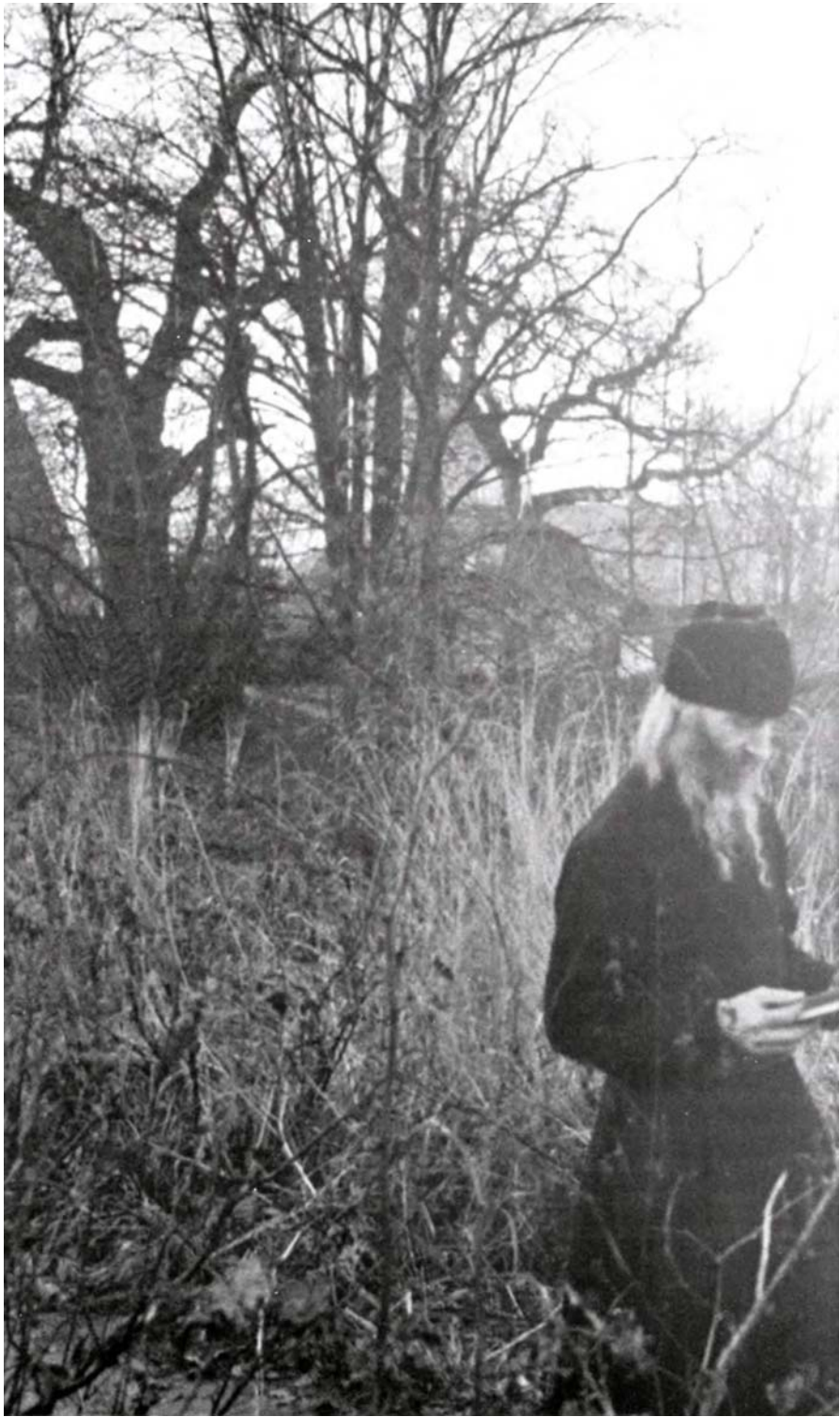
«СТРАНА ЧУДЕС»

*и другие
рассказы*



*Протоиерей
Андрей Ткачев*

**«Страна
чудес»
и другие рассказы**



Протоиерей Андрей Ткачев

«Страна чудес»

и другие рассказы

Второе издание



Издательство
Сретенского монастыря
Москва, 2013

УДК 821.161.1-322.2Ткачев
ББК 84(2=411.2)6-44
Т 48

Допущено к распространению
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС 13-222-1878

Протоиерей Андрей Ткачев

Т 48 «Страна чудес» и другие рассказы. — 2-е изд. — М. : Изд-во
Сретенского монастыря, 2013. — 256 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-0770-5

Автор книги — настоятель храма Преподобного Агапита Печерского в Киеве, известный миссионер и проповедник. Его рассказы — о любви к ближним, о бесконечности Божьего мира, о непростых путях к Богу. Отдельные рассказы публиковались в журнале «Отрок.иа» и на сайте «Православие.ру».

УДК 821.161.1-322.2Ткачев
ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-7533-0770-5

© Сретенский монастырь, 2013
© Ткачев А., протоиерей, 2013

Мудрец и проповедник



Жил на свете один человек, который умел задавать верующим такие мудреные вопросы, что самые убежденные из них смущались и уходили, втянув голову в плечи.

Был и еще один человек, который умел так красиво говорить о Господе, что самые занятые люди бросали свои занятия, чтобы его послушать. Смешливые при этом переставали смеяться, а у грустных разглаживались морщины и начинали светиться глаза.

Оба этих человека жили в одном городе, но никогда не встречались. Дом одного стоял в том месте, где торговый путь с севера входит в город, а дом другого — там, где этот путь выходит из города, чтобы устремиться дальше, на юг. Кроме того, любитель задавать сложные вопросы поздно вставал, потому что любил всю ночь просидеть над книгой. А тот, кто услаждал сердца людей словами о будущей жизни, напротив, просыпался рано как птица — и как птица с закатом солнца прекращал петь.

Люди любили слушать их обоих. Один пугал и одновременно привлекал умы холодной, как лед,

и отточенной, как сталь кинжала, логикой. Другой смягчал сердца простыми словами, от которых почему-то многие плакали, хотя никто не грустил.

Но вот однажды во время осенней ярмарки какой-то шутник предложил свести их вместе в споре. «Пусть покажут нам, кто кого одолеет, а мы послушаем их. Это будет поинтересней, чем наблюдать за состязанием кулачных бойцов!» Людям показалась увлекательной эта идея. Они даже удивились, как это до сих пор такая мысль никому из них не пришла на ум. Возбужденной толпой, шумя, пошли они к городской ратуше и стали требовать, чтобы отцы города написали указ, в котором приказали бы двум мудрецам сойтись в указанное время на городской площади для состязания.

В тот же день почтальон отнес будущим соперникам по одинаковому письму с массивной сургучной печатью. «Ну что? Как они восприняли указ городского начальства?» — наперебой спрашивали люди у почтальона. «Тот, что приводит неопровержимые доводы, обрадовался и сказал, что давно мечтал об этом дне, — ответил почтальон. — Ну а тот, что рассказывает сказки старикам и детям, взял молча письмо и сунул мне в руку монетку».

Потирая руки и азартно хихикая, расходились люди в тот день по домам. Многие сгорали от нетерпения услышать спор, и долгие три дня, которые нужно было подождать, казались им вечностью.

В ожидании назначенного турнира будущие соперники вели себя по-разному. В доме на северной окраине ночи напролет горел светильник. Хозяин сидел над книгами, оттачивая аргументы, готовя самые каверзные вопросы. Время от времени он вставал и начинал ходить по комнате. Тогда в окне была видна



его нервно двигающаяся тень, и видевшие говорили, что выглядело это зловеще.

Проповедник же не поменял образа жизни. Он просыпался рано и уходил за городскую стену в ближайший лес, чтобы слушать птиц. Светильник не озарял его окна. Он по-прежнему засыпал рано. Конечно, он переживал. Ведь он — человек. У него есть нервы, в его груди бьется обычное человеческое сердце. Но он помнил слова о том, что не нужно запасаться знаниями заранее и что в нужное время уста произнесут слова Истины, если надеяться не на себя, а на Другого.

В назначенный день весь город высыпал на центральную площадь. Люди завидовали тем, кто жил в окрестных домах. Еще бы! Они могли не выходя из дома, прямо из окон смотреть на долгожданное зрелище. Некоторые даже неплохо заработали, догадавшись продавать желающим местечко у себя на балконе. Женщины надели самые нарядные платья и вплели в волосы разноцветные ленточки.

Мужчины заключали пари и били по рукам, делая денежные ставки на одного из возможных победителей. Владелец корчмы предвкушал большой заработок. Кто бы ни победил, а уж он не останется в накладе. Все сегодня придут к нему: одни — чтобы обмыть победу, другие — чтобы залить огорчение.

Хладнокровный мудрец, проведший три ночи над книгами, пришел на площадь первым. Он был бледен, но в осанке его, в волевом блеске умных глаз было столько силы, что поклонники проповедника невольно испугались. «Этот того и гляди победит. Разве можно победить такого в споре?»

Но что же это? Солнце уже вошло в зенит, и время диспута, назначенное в указе, давно наступило — а второй участник спора так и не появился. Нарядно одетые мужчины стали расстегивать куртки и камзолы и раскуривать трубки. Женщины то и дело вспоминали, что их ждет дома: кого опара для теста, кого некормленный младенец. Ропот стал волновать людей, словно рябь, бегущая по поверхности озера. Больше всех нервничал мудрец.

— Он испугался! Пошлите за ним! Пусть его приведут силой! — кипятился он, и все впервые видели его потерявшим самообладание.

Несколько посыльных побежали на южную окраину города, но когда они вернулись, ропот только усилился.

— Его нет дома. Дверь закрыта. Его нигде нет, — сказали они.

С великой досадой покидали площадь горожане.

— Ты победил, — говорили они мудрецу, направляясь в сторону корчмы.

— Я не хочу такой победы! — кричал тот. — Я найду его и докажу, что прав я, а не он!

Проповедник, не пришедший на словесное состязание, действительно пропал, как сквозь землю провалился. Его не видели ни на следующий день, ни через неделю. «Неужели он так испугался возможного поражения? — думали люди. — А может, мы обидели его этой глупой выходкой?» Но горожанам пришлось еще более изумиться, когда из города ушел и мудрец, приводивший в смущение всех, кто верит в Господа. Правда, он ушел не тайком, а открыто. Перед уходом он сказал людям:

— Мне стало неинтересно здесь жить. Раньше, когда в ваши уши вливали яд бесполезных сказок, я видел свое призвание в том, чтобы научить вас думать, в том, чтобы логикой и твердым знанием превращать фантазии в пыль. Теперь мне не с чем спорить и никого опровергать. Хотя наш диспут и не состоялся, я знаю, что он, — тут мудрец указал рукою в сторону южной окраины, — умнее всех вас. Без него у меня нет достойного противника. Я отправляюсь на его поиски.

После этого жизнь в городе стала скучной.

Женщины продолжали печь такие же вкусные пирожки. Кузнец по-прежнему творил чудеса из куска железа. Так же хорошо играли в праздники трубачи местного оркестра. В общем, все продолжали заниматься своими делами. Но во всем этом люди не находили прежнего удовольствия. Из жизни города вместе с мудрецом и проповедником ушли вкус и смысл, как испаряется крепость из незакрытой бутылки со сливочкой. Растяпа, не водворивший пробку на место, захочет через месяц развеселить сердце, но будет разочарован. Вместо веселья он обретет лишь расстройство желудка.

Время шло. В городе умирали старики и рождались младенцы. Река времени обновляла жизнь здесь, как



и везде. Не все уже и помнили о мудреце и проповеднике. Как вдруг купец, торговавший на самых дальних ярмарках, принес в город удивительную новость: он нашел их обоих. Более того, они не враждовали, но были друзьями и путешествовали по миру вместе! Вот его рассказ:

— Я повстречал их в гостинице. Увидав обоих, мирно беседующих и поднимающихся в комнату на последнем этаже, я подумал, что вижу сон. Но утром на рынке я снова встретил их. Они беседовали с людьми о вере. Люди, забывая о товарах и покупках, слушали их с замиранием сердца. Говорил тот, кто и нам когда-то проповедовал. Когда же проповедника дерзко перебивал какой-нибудь спорщик, в беседу вступал второй. Он в пух и прах, к удовольствию слушателей, разбивал доводы спорщика и снова давал слово проповеднику.

Немало надивившись такой новости, я вечером постучался к ним, и мне открыли. Мы пили горячий чай и разговаривали. Тот, который не спал по ночам и сидел над книгами, рассказал мне, что долго не имел покоя. Он понимал, что не страх поражения заставил проповедника уклониться от состязания. Смутная догадка озарила тогда его ум: «Он может жить без меня и без споров со мной. Его не радуют подобные победы. У него есть другие радости, которых нет у меня. В крайнем случае он может всю оставшуюся жизнь бродить по лесу и наслаждаться пением птиц. А у меня этого нет. Я хочу спорить и доказывать. Если же спорить не с кем, я проваливаюсь в пустоту. Моя жизнь — пустота, если нет собеседника, и сам я — пустота». Вот что он понял, пока искал своего противника. И не ошибся. Тот не боялся споров, он просто не любил их.

Мудрец действительно нашел проповедника в лесу. Тот стоял на лесной опушке, и множество птиц сидело на ветвях деревьев, радуя его своим чудесным пением. Птицы не боялись этого человека, ни одна из них не улетала. Эта картина поразила мудреца, и мысль о том, что он был прав, озарила его ум подобно молнии. Но он сделал неосторожное движение и вспугнул птиц. Те с криком поднялись в воздух, полетели над лесом и скрылись из виду. Тогда бывшие соперники посмотрели друг на друга и пошли навстречу. Они обнялись как братья и оба заплакали. «Прости меня, — сказал один. — У меня были мертвые знания, но не было живой любви». — «Мне не за что прощать тебя, — ответил другой. — Я такой же, как ты, человек, и мне нечем гордиться». О многом говорили они, и узы, крепкие, как между родными братьями, связали в тот день их души.

После этого они стали путешествовать вместе, договорившись не ждать лета в том городе, в котором перезимуют. Они уже обошли многие города и страны, утешая людей и беседуя с ними. Сложив вместе свою любовь и свои знания, они стали подобны острому мечу, наточенному с двух сторон, и приносят много пользы человеческим душам.

Купец замолчал, и вместе с ним молчали горожане. Потом кто-то вздохнул и сказал:

— Эх, хорошо бы увидеть их снова.

— Как же, — ответил ему другой, — придут они теперь к нам. Размечтался.

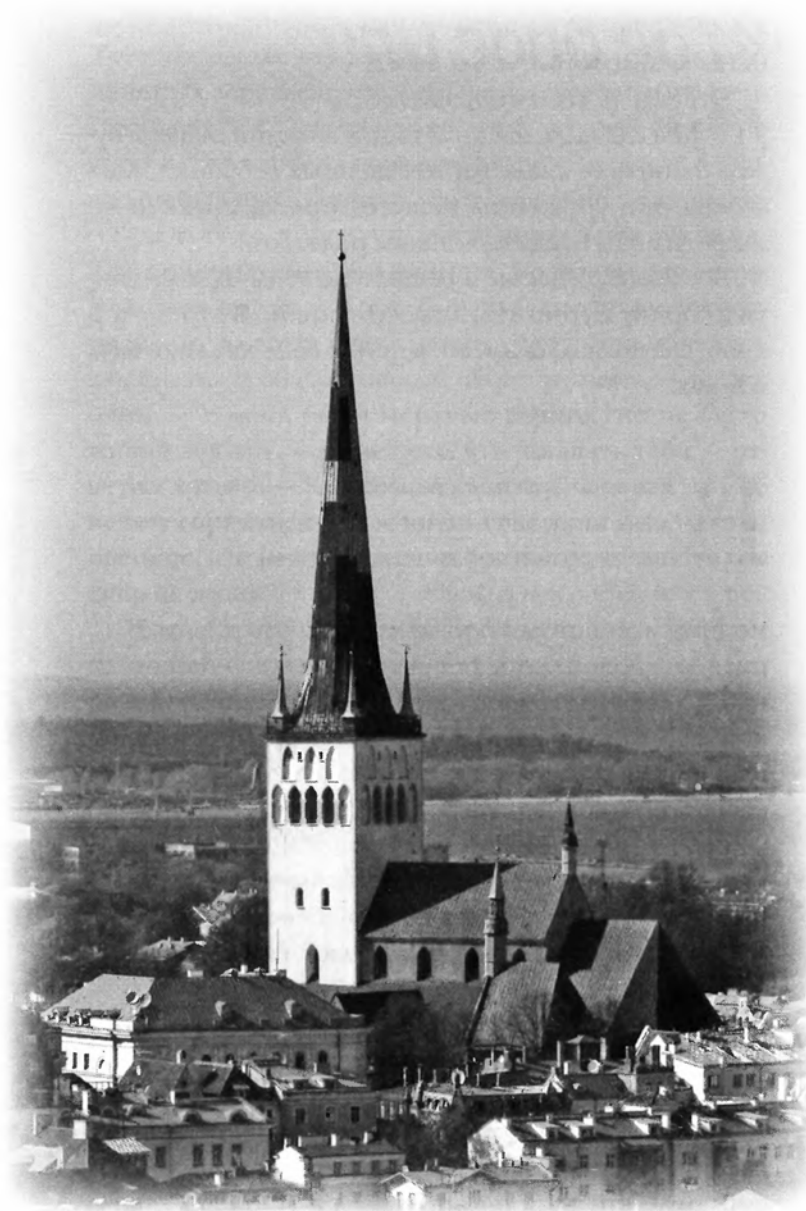
— Они действительно не придут, — сказал купец. — Но не потому, что обиделись. Просто им хочется идти по широкой земле куда глаза глядят и не возвращаться вспять. Люди везде одинаковые, и каждому сердцу время от времени нужно утешение. Но зато

я в следующий раз принесу вам книгу, в которой записаны некоторые из их бесед.

Эта мысль всем понравилась.

— Мы сделаем для этой книги золотой оклад и будем хранить ее в зале торжественных собраний. Как-никак, они уроженцы нашего города, и никто не запретит нам гордиться таким родством!

Все были согласны и решили по этому поводу зайти в корчму и угоститься свежим пивом. В этот вечер пиво, как показалось всем, вернуло себе забытый вкус и запах.



«Где двое или трое...»



В центре парусного корабля возвышается мачта. А в центре европейского города возвышается шпиль собора. Соборный колокол пугает по воскресеньям птиц и мешает спать тем, кто не любит молиться. Вокруг собора, чаще всего — квадратом, расположена площадь. В зависимости от времени года она бывает то местом народных собраний с духовым оркестром и выступлением мэра, то местом оживленной торговли. Да мало ли чем может быть мостовая, на которую с четырех сторон смотрят чисто вымытые окна? Во все стороны от площади убегают узенькие улочки. Дома на них стоят столь близко, что солнечный луч бывает редким гостем на стенах первых этажей. Сыростью и древностью пахнет на этих улицах, если, конечно, хозяйка не вылила прямо перед вашим носом грязную мыльную воду или кухонную лохань с рыбьей чешуей. Сейчас такое случается редко, но раньше...

Та история, которую я хочу рассказать, случилась именно «раньше». Это было между двумя мировыми войнами, которые, по правде, стоило бы назвать

бойнями. Жизнь была бедная, злая и неуверенная. Люди в те годы стали криво ухмыляться при словах «честность», «благородство»... Никому не хватало денег, никто не доверял друг другу и все на ночь крепко запирали двери. В городском храме службы шли регулярно, и люди ходили на них регулярно, но это была холодная регулярность. Точно так же и стрелки часов на башне ходят по кругу, оставаясь мертвыми.

Впрочем, было в этом городе несколько человек, которые по временам молились истово, со слезами и подолгу. Это были несколько «девочек» из заведения мадам Коко. Да, господа! В каждом европейском городе наряду с парикмахерскими, кафе и ателье верхней одежды непременно есть хотя бы один дом, войти в который можно по одной лестнице, а выйти — по другой. Это дом свиданий, веселый дом или публичный называйте как хотите. Если есть человеческое жилье, то могут быть и паразиты: грызуны, насекомые... Если есть цивилизация, то есть и одно из ее проявлений — древняя язва, неистребимое зло — проституция. Как-то окунувшись в разврат, кем-то обманутые, часто — задавленные нуждой, женщины, живущие в таких домах, никогда не остаются без работы. Потому-то и не совпадают там зачастую вход и выход, что незачем, краснея, встречаться в дверях соседу с соседом или профессору со студентом.

Жизнь в этих домах начинается тогда, когда в обычных жилищах мамы рассказывают детям на ночь сказки. А когда те же дети просыпаются утром и мамы выливают за дверь в канаву их ночные горшки, в «тех» домах наступает мертвая тишина. Неестественная жизнь имеет свой неестественный график. Во всем доме только несколько человек бодрствовали

с наступлением утра. Это сама мадам Коко (никто не знал, когда она спит), уборщица и сторож, он же – дворник и вышибала. Уборщица, мадам N, мыла полы, громко шлепая о пол мокрой тряпкой. Сторож, мужчина лет сорока, в прошлом – цирковой акробат, молча курил в углу прихожей. Рядом с ним, беззаботно болтая не достающими до земли ножками, сидела его дочь. На вид ей было лет шесть. Это было щуплое, слабо развитое дитя, похожее на маленького воробьишка. Звали ее грозно. Звали ее так же, как некогда звали умную женщину, спасшую свой народ от врага. Во многих галереях мира вы при желании увидите в разные времена и разными художниками написанные картины под названием «Юдифь с головой Олоферна». Девочку звали Юдифь, но на языке ее страны имя звучало несколько иначе – Эдит.

Картинной галереи в их городе не было. Но даже если бы была, Эдит не смогла бы увидеть изображений своей знаменитой тезки. Эдит была слепа. Ее глазки смотрели прямо перед собой, но ничего не видели.

Женщины в доме мадам Коко любили девочку всей душой. Вся нерастраченная жажда семьи, материнства, вся жажда дарить, а не продавать любовь изливалась на эту слепую девочку. Ее тискали, прижимали к груди, ее носили на руках, причесывали, ее баловали сладостями.

«Если бы можно было купить ей новые глазки, я не пожалела бы всех своих денег», – говорила подругам долговязая Элизабет. Ее собственная дочь жила в другом городе у бабушки. «Мы бы все не пожалели», – вторили ей женщины. Их любовь к Эдит была неподдельной. В этом доме, где грех обжился лучше любой ласточки, забравшейся под крышу, маленькая Эдит, казалось, воплощала ту нормальную жизнь, где



женщина вечером ложится в постель к мужу и просыпается утром.

Мы уже говорили, что «воспитанницы» мадам Коко временами молились горячо и подолгу. Обычный человек вряд ли поймет, что такое молитва проститутки, да лучше бы ему этого и не понимать. Но ведь Страшного Суда еще не было. И не мы, а Христос,

Тот Самый, Который распят за нас, будет этот Суд першить. Эти женщины тоже любили Спасителя. Любили хотя бы за то, что Он не карает их немедленно, не испепеляет после очередного греха, но терпит и продолжает ждать. Вера жила в них в самой глубине сердца, и они стыдились выпячивать ее наружу. Но по временам раскаяние вздымалось волнами, обнажая дно души, и слезы лились рекой, и горькие вздохи нельзя было слышать без содрогания. Это было нечасто и не у всех. Но это было, видит Бог, было.

Человек, зарабатывающий на жизнь в ночном заведении, вряд ли часто будет молиться в городском храме. Особенно если городок мал и все лица знакомы. Но неподалеку от этого городка был другой, кажется — Ливье. В этом городе был монастырь, а в монастыре — мощи святой подвижницы. Святыня привлекала и обитель толпы паломников, среди которых было легко затеряться. Туда и ходили время от времени молиться и долговязая Элизабет, и курносая Жанна, и еще несколько их подруг по ремеслу и несчастью.

Есть, конечно, вещи, которые трудно забыть. Чаще всего забывать легче, чем помнить. Никто уже не вспомнит, как и когда к необычным паломницам пришла мысль согласно и усиленно молиться Господу о даровании зрения маленькой Эдит. Но ведь не родились же эти женщины сразу блудницами. У них были обычные матери, и эти матери читали своим дочерям Евангелие. Даже если они были неграмотны, они пересказывали детям то, что слышали в церкви. Так или иначе, обещание Спасителя исполнить любую просьбу, которую двое или трое согласно принесут Отцу во имя Его, падшим женщинам было известно.

Солнце уже встало, но еще не начало припекать, когда аккуратно и скромно одетые три «воспитанницы»

мадам Коко уходили из города в направлении ближайшей обители. Рядом с ними, смешно перебирая ногами и держась за руки взрослых, шла Эдит.

Существует старое и святое предание о некой блуднице, которая, возвращаясь домой после совершенного греха, увидела мать, рыдающую над только что умершим младенцем. Сострадание прожгло сердце падшей женщины. Невыносимую боль этой матери она почувствовала как свою — и начала молиться. Она, конечно, сознавала, кто она; она знала, как не любит Бог разврат сынов и дочерей человеческих. Но боль сострадания покрыла собою все, отмела стыд, прогнала сомнения, зажгла веру. Настойчивой была молитва и краткой...

Краткой — потому, что после нескольких горячих просьб блудницы Господь ответил чудом, Он оживил дитя. Дивны дела Твои, Господи!

Боже вас сохрани не верить в правду подобных историй. Это значило бы, что вы презираете грешников и не верите, что Бог может слушать их молитвы. А может быть, вы вообще не верите в силу Божию?

Лично я верю. Верю и в то, что было очень давно, и в то, что было гораздо позже. А позже было вот что.

Несколько дней спустя по дороге из монастыря в город возвращались три женщины из дома мадам Коко. С ними, держась за руки взрослых, шагала маленькая Эдит. Она уже не смотрела прямо перед собой невидящими глазами. Она то и дело вертела головой в разные стороны и смотрела на придорожные деревья, на птиц в небе, на прохожих, идущих навстречу.

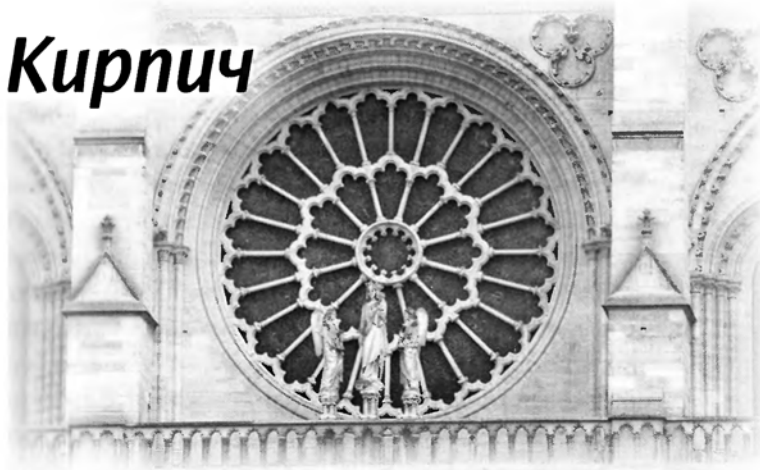
Девочка возвращалась зрячей. Она еще не привыкла к такой значительной перемене своей жизни и удивленно, снизу вверх, заглядывала в лица своих старших попутчиц. А те отвечали ей взглядами,

полными любви. Глаза у всех троих были красными от слез, а лица сияли счастьем.

Если эта история не на сто процентов совпадает с действительностью, то неточности будут касаться лишь мелких деталей. По сути все сказанное — правда. И правда эта тем более очевидна, что девочка, прославившаяся по молитвам падших женщин, известна всему миру. Помните, вначале мы сравнили ее с маленьким поробышкой? Именно по этому прозвищу узнал ее впоследствии весь мир. Эдит Пиаф — ее сценическое имя. «Пиаф» на парижском аргю как раз и означает — «поробышек».



Кирпич



Мама, а знаешь, Кельнский собор начали строить в XIII веке и до сих пор не закончили.

— Угу. — Мама глядит в кухонную раковину, куда из крана льется вода. Мать моет посуду и вполуха слушает сына, вертящегося возле нее.

— Мама, а собор Нотр-Дам-де-Пари строили почти 200 лет, и он называется сердцем Парижа. Там Квазимодо на колокольне жил, помнишь?

— Угу. — Тарелки гремят, вода льется, и мать не оборачивается. — Откуда ты всего этого набрался?

— Я смотрел фильм по «Discovery» и записывал цифры и факты в тетрадку. А знаешь, какие еще соборы готические есть?

— Какие?

— Амьенский, Ахенский, Бернский. Их все столетиями строили. Представляешь, люди умирали и рождались, поколения менялись, а собор все строили и строили!

— Представляю.

— А еще во Франции были такие места, где больших камней не было. Туда в монастыри ходили люди

и тоже долгие годы носили с собой камни. Ну, так им сказали монахи. Повелели или попросили. А когда камней стало много, из них стали соборы строить. Они и до сих пор стоят. Классно, правда?

Мать закрутила кран, повернулась к сыну и, вытирая полотенцем руки, спросила:

— И к чему ты мне все это рассказываешь?

— К тому, что я в лагерь еду от храма, а лагерь стоит там, где храм строят. А там кирпичей мало и люди бедные. Им нужно по кирпичу привезти.

— Как это по кирпичу?

— Просто. Каждый берет кирпич и везет. Это недорого и не тяжело. Кто-то два или три привезет, и они за лето храм закончат.

— Так тебе что, кирпич нужен?

— Ну да.

— Это — к папе. Не женское дело кирпичи носить.

К папе.

* * *

Мальчика, пристававшего к маме, звали Елисей. Не шибко привычное по нашим временам имя, но красивое и, главное, церковное. Папа очень хотел назвать сына как-то так: Рафаил, или Захария, или Софроний. Папа был интеллигентнейшая и глубоко верующая душа не вполне от мира сего, и мама смирялась с его особенностями, здраво рассуждая, что иные жены смиряются с вещами похуже. Рафаила и Захарию она отмела, а на Елисея согласилась, о чем сама никогда потом не жалела. Через день после описанного диалога Елисею предстояло путешествие в церковный летний лагерь, куда организаторы в плане помощи местному приходу просили привезти по кирпичу. Дело хорошее, не тяжелое и на века зримо остающееся вкладом

в молитву Церкви. Вопрос оставался за малым— найти кирпич.

* * *

Илья Ильич (звали папу так же, как Обломова, но характеры его и литературного героя не совпадали) был человеком добрейшим и культурнейшим. Он был несколько наивен, зато весьма активен и последователен. Совесть Ильи Ильича требовала от него великой щепетильности. То, что другие берут без спроса, а потом спят спокойно, он непременно покупал или просил в подарок, обещая достойную замену. А иначе, простите, был не обучен.

Кирпичи у нас продаются оптом на складах стройматериалов, а в розницу — на стройках. Но и там розница — это не один кирпич, а тачка, кузов «жигуля» или нечто подобное. Илья Ильич нашел стройку и стал высматривать, кто мог бы ему кирпич продать. Двое похожих на тех, что действительно могут продать кирпич в темном переулке, стояли у плиты подъемного крана и курили.

— Простите, вы не могли бы мне продать кирпич?

— ?

— Я спрашиваю: кирпич не могли бы мне продать?

— А сколько тебе?

— Один.

— ?

— Понимаете... — Илья Ильич начал сбивчиво объяснять что-то о лепте на храм, о Елисее, едущем в лагерь, о Кельнском соборе и поймал себя на мысли, что в глазах этих добрых людей он выглядит не очень адекватно. Они и сами поняли, что имеют дело с кем-то непривычным, но безобидным.

— Бери кирпич и иди, — буркнул один, отщелкивая пальцами окурок.



— А сколько он стоит, и кому заплатить?

— Ты че — в натуре идиот или прикидываешься?

* * *

Так кирпич был приобретен. Оставалось теперь только узнать его цену и отдать ее кому-то в виде милостыни, раз добрые рабочие согласились благотворить бесплатно. Ну а пока...

— Иля! — Так мама ласково называла папу. — Откуда в ванне столько грязи?

— Я мыл кирпич. Не повезет же мальчик на стройку храма грязный кирпич.

— Иля, ты не исправим. Это же просто кирпич! Ты в своем уме?

— Сонечка, я в своем уме и поступаю совершенно правильно. Лучше скажи мне, кому отдать деньги за кирпич, потому что я себя неудобно чувствую. Кстати, сколько он стоит?

— Не смейся людей. Он ничего не стоит. У нас от дома отвалилось сразу три кирпича. Бери любой.

— У нас от дома? А ведь это идея! Мы возьмем кирпич от нашего дома и вложим его в стены будущего храма! Как тебе это? Где они лежат?

— Да под балконами со стороны клумбы.

— Я возьму этот кирпич и положу его на место того, да?

— Ты с ума меня сведешь своими причудами. Делай что хочешь и уходи из ванной. Я уберу за тобой. Ну хуже ребенка!

* * *

Если вы думаете, что заменой кирпичей все кончилось, то вы не знаете Илью Ильича. Сначала он действительно заменил кирпичи, стараясь класть свой точно на место выпавшего из кладки дома. Но потом он подумал, что сразу три кирпича — это символично. Причем все три — из их дома, а семья у них как раз состоит из трех человек. В общем, втянув поздрями сладкий воздух повседневной мистики, Илья Ильич взял все три кирпича домой и, конечно, вымыл их в ванне с мылом. Потом он подумал, что тот, четвертый кирпич, который по счету — первый, не стоит оставлять на месте трех. Как-никак, один — это не три и замена неравнозначна. Он решил взять все четыре кирпича, а цену их узнать и в ближайшее воскресенье отдать нищим у входа в их приходскую церковь.

Узнавание в Интернете цены товара, мытье стройматериалов и укладывание их в багаж весь вечер сопровождалось то истеричным смехом, то гневным криком мамы. Но дорогу осиливает идущий, и близко к полуночи дело было сделано.



* * *

Скажите, если вы помогаете кому-то нести багаж, а он оказывается весьма тяжелым, то что вы спрашиваете? Вероятно, вы спрашиваете хозяина багажа: «Ты что, туда кирпичей наложил?» Именно этот вопрос задавали Елисею все, кто хоть пальцем трогал его дорожный чемодан. И всем им он отвечал искренно: «Да, кирпичей наложил».

* * *

Добрались они до места хорошо, и смена в лагере прошла отлично, и храм в соседнем селе действительно за лето подняли и успели накрыть. Все четыре Елисеевых кирпича вкупе с прочими дарами и жертвами пришлось кстати. И цена кирпичей отцом была узнана, но оказалась она столь скромной, что пришлось умножить ее еще на четыре, чтобы воскресная милостыня Ильи Ильича оказалась достаточной, а не обидно ничтожной.

Вы, вероятно, смеялись, читая эту историю, — уверяю вас, я сам смеялся, когда мне рассказывали ее. Но согласитесь, есть в ней еще кое-что кроме повода к смеху. Есть в ней некая преувеличенная серьезность в творении маленьких добрых дел.

Вполне возможно, что серьезность эта, смешная и наивная, как-то компенсирует ту тотальную и всеобщую несерьезность большинства людей в отношении и добрых дел, и повседневных обязанностей.



Сказка



Хочу поделиться радостью – пересказать полезную и прекрасную идею. Не я придумал. Я только услышал. За что купил, за то и продам. Это не голая идея, а идея, одетая в форму сказки. Сказка, как шубка, тепла и пушиста.

Слушайте.

* * *

Один король с женой и единственной дочкой отправился в путешествие на корабле. Их корабль попал в шторм и, разбитый волнами, утонул. Погибла вся команда, но Бог сохранил короля и его семью. Их выбросило на берег, и там, в лохмотьях, как нищие, они стали искать ночлег и пищу. Никто из них даже не заикнулся о том, что они – особы благородной крови. Кто поверил бы трем оборванцам? Их могли бы и высмеять, а то и подвергнуть побоям. Ведь не все любят нищих, а уж наглых нищих не любит никто.

Так случилось, что один из жителей той страны приютил у себя несчастных, а взамен повелел пасти свое стадо овец. Король стал пастухом, а королева и принцесса – женой и дочкой пастуха. Они не

роптали на судьбу, только иногда по вечерам, сидя у огня, вспоминали жизнь во дворце и плакали.

Король той страны, где они очутились, искал невесту своему сыну. Несколько десятков пар гонцов разъехались в разные концы королевства в поисках самой красивой, самой умной и самой благочестивой девушки. Они получили от короля приказ не пренебрегать дочкой даже самого последнего бедняка. Ведь умыть, приодеть и научить манерам можно любую, а дать человеку ум или целомудрие гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. Поэтому гонцы беседовали со всеми девушками, присматривались к ним, просили угостить едой, которую те приготовили. Все, что видели они, записывалось в специальные книги, и затем мудрейшие придворные изучали записи в поисках лучшей невесты принцу.

Увидели гонцы и дочку бедного пастуха, начавшего было забывать о своей королевской короне. Дочка была прекрасна. Она и в простой одежде была так грациозна, словно была одета в дорогое платье. Солнце сделало ее смуглой, а свежий воздух обветрил лицо, но это только добавляло ей миловидности. Что же касается разговора, то восторгу послов не было предела. Столько ума и такой эрудиции они не встречали и при дворе. Нужно было доложить о ней принцу. Тот, услышав о красавице-простолюдинке, не ждал ни секунды, и вскоре его взмыленный конь уже стоял у порога пастушьей хижины. Принцу хватило нескольких минут, чтобы сердце его заняло от глубокой любовной раны, исцелить которую могла лишь та, чей взгляд эту рану нанес.

И дело, казалось, было решено, но странно вдруг повел себя отец. Этот пастух, который во сне иногда все еще видел себя королем, потребовал от принца



знаний какого-то ремесла. «Вы должны, — сказал он принцу, — уметь делать что-то руками. Неважно что». — «Но я — принц. Я умею разбирать дела государства, владеть шпагой, принимать послов и подписывать договоры», — с удивлением отвечал молодой человек.

«Да. Это правильно. Но я хочу, чтобы вы знали ремесло плотника, или ювелира, или портного, или любое другое. Если нет, дочь моя не станет вашей женой».

Видит Бог, каких усилий стоило принцу не заколоть на месте этого наглого пастуха. Но принц сдержался. В тот же день он уже ходил по базару, присматриваясь к работе ремесленников. Кузнецы, чеканщики, повара, ловцы птиц, сапожники... Как их много, и как тяжел их труд. Обучаться любому из ремесел придется долго, а всякий, кто знает томленье любви, согласится, что ожидание — худшая мука для влюбленных.

Принц остановил свой выбор на человеке, плетущем циновки. Два дня он учился, и к концу второго дня три циновки были худо-бедно сплетены руками королевича.

С изделием своих рук опять стоял королевич перед лицом отца своей избранницы. Пастух держал в руках и пристально рассматривал труд будущего зятя.

— За сколько можно это продать? — спросил он.

— За две медные монеты каждую.

— Как долго ты их плел?

— Два дня.

— Два дня, три циновки, шесть монет, — произнес отец и вдруг сказал. — Бери в жены мою дочь!

Принц даже подпрыгнул от радости. Затем обнял отца. Затем подошел к покрасневшей избраннице и, склонившись на колено, поцеловал ей руку. Но затем он повернулся к будущему тестю и спросил голосом не жениха, но будущего короля: — Объясните мне свое поведение.

— Видишь ли, сынок, — отвечал пастух, — я ведь тоже был король. Я водил войско в битву, и подписывал законы, и вслушивался в доклады министров. Никто не мог подумать, что я буду оканчивать жизнь

простым пастухом. А когда Бог изменил мою жизнь, больше всего я страдал оттого, что не умел ничего делать по хозяйству. Если бы я умел плести циновки, то шесть монет за каждые два дня сильно помогли бы моей семье.

* * *

Вы прослезились, господа? Если нет, то сердце ваше жестоко. Я смахиваю слезу всякий раз, когда пересказываю эту историю. А пересказываю я ее не первый десяток раз.

Мы хотим, чтобы дети наши подписывали важные бумаги и ездили в дорогих машинах. Но жизнь может сложиться по-всякому. Вдруг им придется держать в руках лопату, ходить пешком и утолять жажду простой водой? Тогда они, изнеженные и не способные к простой жизни, проклянут нас. Эта мысль была понятна многим. Солон, древний мудрец и творец законов, разрешал детям не кормить на старости того отца, который не научил сына ремеслу. И апостол Павел много послужил проповеди Евангелия тем, что ничего не брал у паствы, но нуждам его служили его собственные руки, владевшие ремеслом делателя палаток.

Это была сербская сказка, господа. И люди, сложившие ее, кое-что понимали в жизни, хотя западный мир с презрением и называл их свинопасами. Если в головах свинопасов живут такие высокие мысли, то я, господа, готов обнимать таких свинопасов, как братьев, и спокойно проходить мимо «звезд», о которых пишут в журналах.



Лебедь, или Вечер Сен-Санса



Мишка был крепкий парень и не робкого десятка. Отжимания на кулаках, пробежки в любую погоду, спарринги и все такое. Но те двое, которым он попался на зубок поздно вечером у ларька с сигаретами, оказались крепче. Вот уже несколько лет прошло, как Мишка на кулаках не отжимается, по мешку не бьет и в парах не стоит. Вместо этого Мишка всем улыбается и через каждые тридцать секунд странно подергивает головой. Работает он ввиду полной своей безопасности в детском садике дворником.

Зато Григорий как занимался любимым делом, так и занимается. Хотя он и не здоровый вовсе, и его, как и всех в нашем городе, рано или поздно встречали вечером такие люди, после общения с которыми тоже можно начать всем улыбаться.

Гриша — представитель самой немужественной в глазах нашего нордического населения профессии. Гриша — скрипач. Ни разводной ключ, ни молот, ни тугая баранка старого грузовика мозолей на Гришиных руках не оставили. Весь спектр своих чувств он, в отличие

от нормальных пацанов и мужиков, одним только матом выразить не способен. И в плечах он не широк, и смотрит на мир открытым взглядом, а не из-под неандертальских надбровных дуг. Даже плюнуть сквозь зубы у него получается только на метр, а не на три, как у любого нормального в нашем городе человека. И тем не менее какая-то сила в нем есть. А иначе как бы он до сих пор играл на своей скрипке, если даже такие парни, как Мишка, уже несколько лет всем улыбаются?

* * *

С какой-то репетиции в один из ветреных, холодных вечеров Гриша шел домой. Шел, срезая углы и петляя по дворам, в которых шутки ради малолетками выбиты все лампочки у фонарей; шел дворами, в которые заходят только знатоки маршрута, например пьяные, возвращающиеся после получки домой в состоянии глубокого алкогольного обморока. Через такие дворы быстрым шагом петлял, идя с репетиции домой, и Гриша, подняв воротник плаща, мурлыча обрывки мелодий, мечтая о горячем чае с лимоном.

Сиплый густой баритон неожиданно отвлек Григория от уютных мыслей:

— Сюда иди.

Несколько окон без занавесок лили жидкий свет на мокрый лабиринт двора, на поломанную детскую площадку. Из полного мрака в относительную полутьму по направлению к нему выступили две фигуры:

— Деньги давай.

Когда бежать некуда, а драться бесполезно, просьбы, произнесенные сиплым голосом, нужно выполнять. Если, конечно, эти просьбы в принципе выполнимы. Если, то есть, у человека есть принципы, соблюдая которые, ему скорее придется распрощаться с жизнью, чем исполнить неисполнимое.

«Деньги — дело наживное, — так всегда говорила Григорию мама. — Нужно отдать — отдавай не жалея. Потом еще заработаешь». «Деньги — не принцип», — всегда думал Григорий. Он достал из кармана все бумажки и все копейки, которые там были.

— Это все?

— Да.

— А это что?

Рука обладателя сиплого баритона коснулась футляра за спиной.

— Скрипка.

— Ты че — скрипач?

— Да.

— А она дорогая? — спросил второй надтреснутым голосом.

— Я ее не отдам, — сказал Григорий, — да она вам и не нужна. Вы ее нигде не продадите.

— А сыграть сможешь?

— Смогу, конечно.

— Пойдем.

Они зашли в ближайший подъезд и поднялись на площадку между первым и вторым этажами. Граффити на тему половой жизни обитателей дома, окурки, выбитое стекло — все как везде. Григорий с минуту дышал на пальцы и тер ладони друг о друга, разглядывая попутно неожиданных слушателей. А те с насмешкой в хищном взгляде, в свою очередь, рассматривали этого Паганини, который снимал с щуплых плеч футляр и готовился играть.

— Нам чего-нибудь нашего, — сказал баритон.

— «Мурку», что ли? — спросил, осмелев, Григорий.

— Типа того.

— «Мурку» я не играю. Я играю серьезную музыку. Вот сейчас мы репетируем ораторию Сен-Санса.



— Слушай, Чиполлино, нам это... как тебе сказать? Нам непонятно будет, въезжаешь?

— Это вам так кажется. — Григорий уже изрядно осмелел и почувствовал себя не в лапах чудовища, а в диалоге с людьми. Он почувствовал, что больше непрошенных слушателей начинает владеть ситуацией. — Серьезная музыка понятна всем. Вы когда-нибудь лебедя видели?

— Ты что, издеваешься?

— Ну вот представьте себе лебедя. Представьте, как он плавает по тихому озеру и вода мягко расходится за ним едва заметным шлейфом. Закройте глаза и представьте. А я сыграю произведение, которое называется «Лебедь». Это тоже Сен-Санс, ораторию которого мы сейчас репетируем.

Два человека зажмурились, а третий, взяв несколько нот для пробы, начал играть. Нужен был фотоаппарат, чтобы заснять эту «встречу на Эльбе»! Это



было похоже на столкновение двух цивилизаций. Одна цивилизация была сурова. Она выжила в снегах ледникового периода, вырастив на сердце и на всем кожном покрове грубую защитную броню. А вторая, наоборот, долго обрезавала и очищала сердце, делая его чутким и восприимчивым к любому прикосновению. Два представителя первой цивилизации стояли непривычно для себя самих — закрыв глаза, представитель другой водил смычком по струнам и сам в это время был похож на струну натянутую и звенящую. А между ними, в согревшемся от игры воздухе, царственно плыл по тихому озеру лебедь Сен-Санса. Он иногда окунал голову в воду, иногда прятал ее под крыло. Но он все время плыл не останавливаясь, и озеру, казалось, не было конца.

Через несколько минут игры надтреснутый голос вскрикнул:

— Стой! Стой! Вот здесь теплее надо!



Григорий улыбнулся в ответ и стал играть теплее, а кричавший, закрыв глаза, продолжил слушать. Он действительно понял эту музыку, и радость понимания грела его не меньше, чем звуки скрипки.

Дом резонировал. Звуки уходили вверх, усиливались, заставляли подрагивать невыбитые стекла. Музыка без стука заходила в дома, сначала раздражая непривычностью, а затем совершая умиротворяющее помазание. Люди открывали двери квартир, чтобы закричать «Уйдите!» или «Перестаньте!», но не кричали, а оставались у открытых дверей и слушали. После «Лебедя» из «Карнавала животных» Гриша сыграл еще «Рондо Каприччиозо», и когда он заканчивал, из-под закрытых век баритона вытекла скупая и жгучая слеза, какими плачут люди, пережившие ледниковый период.

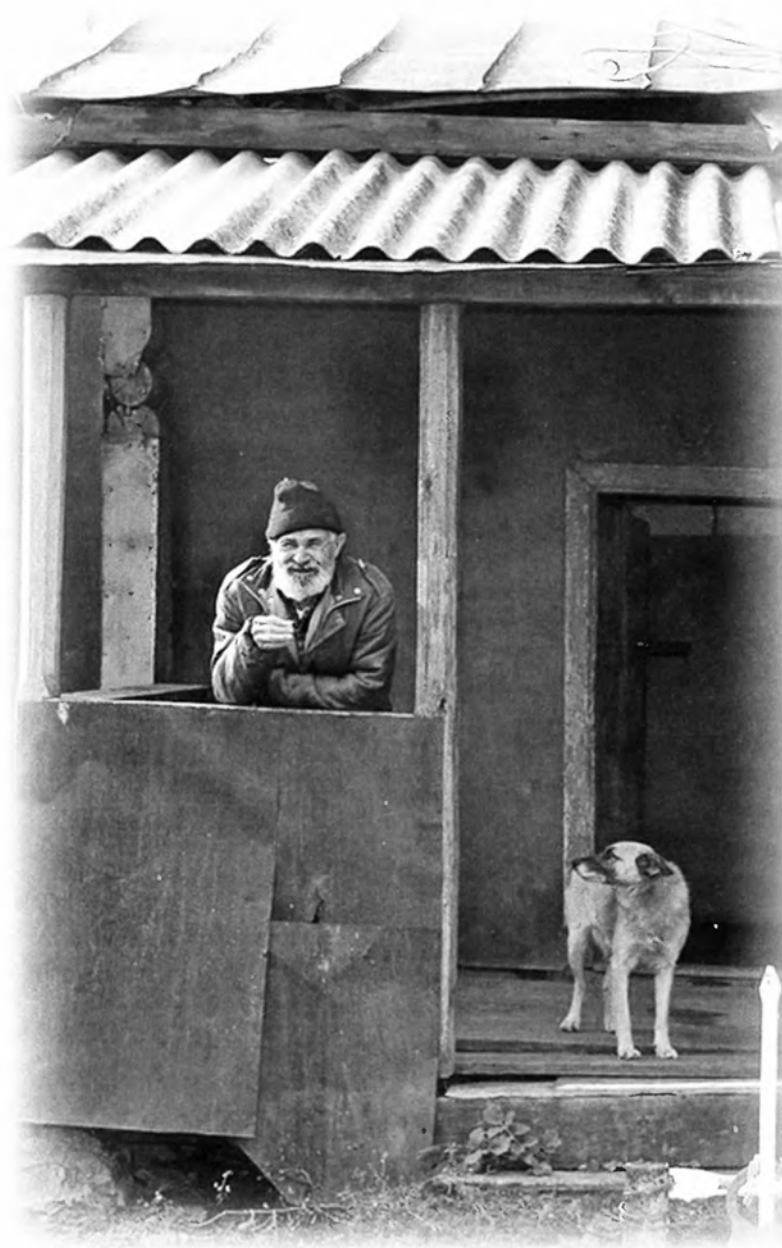
* * *

Они, конечно, отдали Григорию все его деньги, а может, и додали своих. Они проводили его домой,

чтобы никто пальцем не тронул Паганини («Сам знаешь, что у нас по вечерам случиться может»). Они бы и поблагодарили его на все лады, но слов в лексиконе было маловато, и большую часть своего восторга они, размахивая руками, выражали матюками и междометиями.

Все трое в ту ночь засыпали улыбаясь. Но это была не та улыбка, которой встречает незнакомых прохожих некогда крепкий парень Мишка.

Обычно бес стоит незримо между людьми, нашептывая помыслы, провоцируя вражду, подталкивая на злодеяния. А между этими тремя людьми в сей вечер тихо и неторопливо проплыл лебедь. Он проплыл, перед глазами одних открывая красивую и неизведанную жизнь, а в глазах другого подтверждая ту истину, что люди изначально хороши, и если плохи, то лишь потому, что сами не знают себя настоящих.



В маленьком городке на границе



Раньше границы не было, поскольку не было и страны. Была республика на краю огромного государства. Потом государство умерло, распалось на множество частей. В городке появилась таможня и пограничный пост. Все здесь было обычно, тихо, даже как-то смиренно. Железная дорога, пара средних по классу гостиниц, кафе, магазин, церковь. В церкви служил отец Станислав. Служил долго. Уже перевенчал давно всех, кого когда-то крестил. Жизнь стирала его долго то в ручном, то в машинном режиме. Стирала и с порошком, и с хозяйственным мылом. Но он не поблек, не выцвел. Выцвел только подрясник да на локтях протерся плащ.

Местные относились к нему так, как вообще относятся к местным достопримечательностям. Этакая смесь уважения и безразличия.

В Пизе любой вас проводит к Пизанской башне, но сам восхищаться не станет. Ну башня. Ну криво стоит. Вам интересно? Приезжайте, проводим, покажем, предложим сувениры на память.

К отцу Станиславу приезжали многие, и все в городке могли сопроводить пилигрима в маленький домик недалеко от ратуши. Проводить могли, но сами не заходили. Близость к чуду — мать безразличия.

* * *

Приезжавшие были из умников. Причем чаще — из столичных умников. Это были бородачи в вязаных свитерах, очкарики в плохо выглаженных рубашках, шальные богемные интеллектуалки с обгрызенными ногтями. У себя дома на кухне, в клубах табачного дыма под чай с коньяком они спорили о превосходстве Исаака Сирина над Франциском Ассизским. Многие, вопреки начитанности, были некрещеными. Пойти в любую церковь к любому батюшке им казалось непозволительным. Поэтому, если разговор касался крещения, звучало часто: «Езжай к отцу Станиславу». Затем назывался город и перечислялись удобные способы путешествия.

* * *

Отец Станислав всех принимал, хотя никого не ждал, и к приезжавшим относился сдержанно, без напускной радости. К ритуалу гостеприимства относился обед или ужин, в зависимости от времени визита. Потом долгие разговоры за полночь. Утром — служба. Вечером он провожал гостя на вокзал. Сразу никого не крестил. Только во второй или третий приезд. По дороге на поезд всегда останавливались в небольшом кафе для прощальной беседы. Это был своего рода экзамен. Они садились за столик у окна, и официантка без лишних просьб приносила чай, орешки, конфеты, два куска торта.

Разговоры бывали разные. Могли спорить на исторические темы, могли обсуждать толкования на священные тексты, разбирали богослужение,

размышляли о смерти. Примерно через полчаса, когда чай уже остыл или был выпит, торт съеден, а от конфет остались обертки, отец Станислав начинал суетиться. Он счищал остатки с обоих блюдец в одно, собирал фантики, сдувал со стола крошки. Он поддвигал посуду к краю стола, чтобы официантке было легче убирать. Он делал это, не переставая слушать собеседника, и вовремя отпускал реплики по поводу Вселенских Соборов, влияния платонизма на богословие, важности Великого поста. Бывало, что увлеченный беседой гость говорил собирающему блюдца священнику: «Да бросьте, отче. Она сама уберет». Это и был главный момент в экзамене.

* * *

Расплатившись и выйдя на улицу, они медленно шли к вокзалу с красной черепичной крышей. Уже на перроне, под звук молоточков, которыми обходчики обстукивали колеса, священник говорил гостю: «Рано вам пока креститься. Вы людей не цените и не замечаете. Если покреститесь, будете фарисеем. А это плохо. Они Бога убили».

Затем следовало рукопожатие, и ошарашенный гость провожал взглядом удалявшегося священника. Тот шел медленно, немного сутулился и, кажется, чуть хромал.

Такие истории происходили несколько раз. В конце восьмидесятых поток приезжавших заметно уменьшился. Отец Станислав об этом не жалел. Даже немножко радовался. Молиться за людей он не переставал, а лагерный опыт научил его навсегда той истине, что молитва за людей приносит больше плодов, чем устное наставление.



Отец Василий



Его палата находилась почти в конце коридора. Выход из лифта, поворот налево, двадцать шагов по свежeweымытому линолеуму мимо столика дежурной медсестры, осторожный стук в дверь, и вот мы уже в палате. Кроме отца Василия, больных в палате нет. Есть только стойкий запах лекарств, какое-то питье на тумбочке и огромное окно во всю стену.

Мало того, что новая больница весьма высока и мы находимся на одном из последних ее этажей, она еще и построена на горе. Отсюда был бы виден весь город, вырасти она где-нибудь поближе к центру. А так, на окраине, из окон ее верхних этажей видны только новостройки «конца географии» да загородные поля.

Я помню вид из подобного окна в другой палате этой же самой больницы. Там за окном тогда было страшно много ворон. Они облепливали крыши домов напротив и голые ветки деревьев и какое-то время сидели молча. А потом вдруг, как по сигналу, с истошным карканьем поднимались в воздух, принимали вид большого, колышущегося живого ковра и носились

с полминуты в сыром осеннем воздухе, чтобы облепить затем другие крыши и другие деревья. Можно было подумать, что Хичкок за окнами командует вороньем на съемках своего знаменитого триллера. И это выглядело мистично, тем более что в палате лежал тогда человек с очень серьезным недугом и будущее было в тумане, и мы оба — больной человек и я — молчали, следя за перемещениями в воздухе черного каркающего живого ковра.

А в тот день в палате у отца Василия ворон за окном не было. За окном вообще не было ничего, и само окно было черным, как огромный экран плазменного телевизора, потому что на часах уже было восемь вечера и был ноябрь. Нас было трое: двое пономарей храма, где служил отец Василий, и семинарист, приехавший домой на пару дней.

— Благословите, отче, — сказали мы, окружив кровать.

— Бог благословит, — сказал священник, и было видно, что слова дались ему с трудом, что губы запеклись и прилипли к пожелтевшим зубам, что весь он высох и как бы уменьшился в размерах и что особой радости своим посещением мы священнику не доставили.

Пока один выкладывал на тумбочку апельсины, другой рассказывал о новостях в храме, о том, что прихожане молятся о больном священнике, что на последней службе причастников было так много, что пришлось причащать из трех чаш. Отец Василий пытался улыбнуться, пытался придать лицу выражение заинтересованности. Но у него это плохо получалось. А мы были слишком глупы и слишком «добродетельны», чтобы понять простую вещь: элементарное человеколюбие требует, чтобы мы немедленно ушли. Ушли

и оставили человека наедине с болью, со стонами, рожденными болью, с мыслями о смерти, с молитвами, произносимыми шепотом. Но мы тогда исполняли заповедь «болен был, и посетили Меня», поэтому сидеть собирались долго, хоть это и мучило больного.

Когда новости были рассказаны, а молчание стало тягостным, я, словно дополняя меру благочестивого безумия, брякнул: — Вы, отче, здесь молитесь?

Он повернул голову в мою сторону и посмотрел на меня таким же теплым взглядом, как смотрел мой дед, и сказал тихо: — Без молитвы, сынок, можно с ума сойти.

Эти слова стоят дорого. Очень дорого. Я часто перетряхиваю пыльный хлам воспоминаний и не могу похвалиться, что в архивной папке с надписью «Былое и думы» у меня много таких сокровищ.

И я любил отца Василия. Любил потому, что он был похож на покойного дедушку. Такой же высокий, смуглый, крепкий в кости. С открытой душой и красивым лицом. Любил потому, что молился он как-то особенно искренне. Настолько искренне, что даже попы (а попы редко хвалят попов, уж поверьте мне) говорили о нем: «Он с Богом разговаривает». Правда, тут же, рядом, они не забывали вспомнить, что видели его как-то в Великую Пятницу пьяным и что бывает он временами груб и так далее. Все это произносилось «как бы» не в осуждение, а беспристрастной правды ради; и не со злобой, а с чувством объективности и со вздохом: мол, все мы грешные. Но образ отца Василия в моих глазах не мерк и не загрязнялся. Зато те, кто это говорил, в моих глазах становились ниже, словно слазили со стульчика на заднем плане групповой фотографии.

Ну и что, что видели его пьяным? Его и с сигаретой могли увидеть. Но дедушка мой тоже курил, а люблю

я его от этого не меньше. Он курил по полторы-две пачки сигарет без фильтра, которые назывались «Аврора». Он курил их одну за одной и поминутно повторял краткую фразу, смысл которой я уразумел много лет спустя, после его смерти. «Господи Иисусе Христе, прости мою душу грешную», — говорил мой дедушка. Даже за однажды сказанные эти слова я простил бы ему все выкуренные сигареты, а он не однажды, а постоянно твердил их шепотом.

Отец Василий был лучшим священником, которого я знал. И обидный кошмар ситуации заключается в том, что я почти не знал его, вернее, знал очень мало. Он любил Почаев, потому что при Польше учился там в семинарии. Каждый год по несколько раз он ездил туда помолиться. Однажды я бегал после службы в автобусную кассу ему за билетом, а билетов не было, и я вернулся взмыленный и ужасно расстроенный. Он тогда улыбнулся и сказал: «Ничего. Попрошу сына, он завезет».

Выходя после литургии на улицу и видя нас, пономарей, заваривающих чай в пономарке, он спрашивал: «А что будет после ча-а-а-ю?» И сам же отвечал: «Воскресение мертвых».

Однажды на вечерней службе, когда была его черед служения, я читал Шестопсалмие. Потом вошел в алтарь, и он похвалил меня за то, что читал я громко и четко выговаривал слова. А потом разговорился, стал вспоминать монахов, которых знал, говорил, что они самые счастливые люди, если только по-настоящему монашествуют. А я, говорит, всю жизнь хотел и Богу, и жинке угодить. Вот умирать скоро, а и Богу не угодил, и жинка вечно недовольна.

Еще вспоминал, что один старый монах в Почаеве говорил ему после окончания семинарии: «Вот,



Васенька, доброму тебя научили, плохому ты сам научишься».

Вот вроде бы и все, что я знаю. Этого мало, чтобы любить человека. Мало в том случае, если любишь «за что-то». А если не «за», а просто, тогда — очень даже много. Да это и не все. Я помню, как он крикнул на людей во время проповеди. Они шушукались, а он треснул по аналою своей широкой ладонью и гаркнул: «Горé имеим сердца!»

И еще рассказывал, как на первом своем приходе в селе на похоронах стал слезливо завывать по обычаю местного духовенства. Стал говорить о том, что покойник жил с женой душа в душу, что в семье у них был мир, что у всех разрываются сердца от боли при мысли о прощании с ним и т.п. А потом, уже по дороге с кладбища, какая-то женщина старшего возраста сказала ему, что, дескать, нес он полную чушь, и всем было стыдно слушать, и первый, кто с облегчением после смерти покойника перекрестился, была его жена. И я, говорил отец Василий, с тех пор навсегда прекратил брехливые и слезливые проповеди рассказывать.

Точно! Подтверждаю и свидетельствую. Ни брехливых, ни слезливых проповедей он, в отличие от многих, не рассказывал!

Тех, кто непременно умрет, из больницы стараются выписать. Чтобы не увеличивать смертную статистику. Поэтому отец Василий умирал дома.

Я был у него еще раз, но уже один. Был недолго, потому что мучился укорами совести после того посещения в больнице. Я даже держал его за руку, а он, не стесняясь моим присутствием, шумно вздыхал и иногда охал. Потом я услышал: «Да сколько же еще, Господи. Или туда, или сюда». Потом опять раздался звук глубоких и нечастых вдохов и выдохов.

Путь «сюда» ему уже был заказан.

А через несколько дней он ушел «туда», в «путь всея земли», в неизвестную и грозную вечность, где ждет его Бог, Которому он так и не угодил, куда провожают его рыдания жены, которая всю жизнь была недовольна.

И мы хоронили его как положено, и это были, кажется, первые похороны священника в моей жизни. Первые похороны священника были похоронами лучшего священника в моей жизни.

Я так много узнал тогда.

Он был облачен в полное облачение, которое, как выяснилось, нужно приготовить задолго до смерти. Ему закрыли лицо воздухом. Оказывается, потому, что священник лицом к лицу годами разговаривал с Богом, как Моисей. А Моисей, сходя с горы, закрывал лицо куском ткани, чтобы евреям не было больно смотреть на исходившее от него сияние.

И в руках у него был не только крест, но еще и Евангелие, которое он должен был всю жизнь проповедовать. И на самом погребении из Евангелия читалось много-много отрывков, перемежаемых молитвами и псалмами, а похороны были долгими, но ничуть не утомительными. И мы несли его на плечах вокруг храма под редкие удары колокола и пение Страстных ирмосов, таких протяжных, таких грустных и одновременно величественных. «Тебе, на водах повесившаго всю землю неодолимо, тварь, видяще на лобнем висима, ужасом многим содрогашеся...»

Я бы наверняка всплакнул, если бы не помогал нести гроб. Но гроб был тяжел, а идти нужно было в ногу, и плакать было невозможно.

Сколько лет прошло с тех пор? Да немногим меньше, чем количество лет, вообще прожитых мною



к тому времени. То есть я без малого прожил еще одну такую же жизнь с тех пор. С тех пор я видел очень много священников. И хоронил многих. Причем и обмывал, и облачал многих собственноручно. Это дико звучит, но я люблю молиться об усопших священниках, люблю ночью читать над усопшими иереями Евангелие. Они входили во святое святых. Они носили льняной ефод. Они совершали ходатайство о словесных овцах. Царство им всем Небесное. Но отец Василий до сих пор остается в моей душе как лучший священник. И это, как ни крути, хоть что-нибудь, но значит.

Я думаю даже, что малый объем моих знаний о нем — тоже благо. Ну, знал бы я больше, ну общался бы с ним дольше, что из этого? Увеличение фактических знаний само по себе ни к чему не приводит. И сами факты без интерпретации совершенно бесполезны. Они никогда и никому ничего не доказывают. Они просто лежат перед тобой, как куча камней, которую не объедешь, и каждый таскает из этой кучи то, что ему нравится.

Факты могут мешать, мозолить глаза, заслонять собою суть событий. Они могут пытаться переубедить душу, разуверить ее в том, что она угадала и почувствовала.

Что-то почувствовала моя душа в этом священнике, который чем-то был похож на моего покойного дедушку. И того, что я знаю о нем, мне вполне хватает, чтобы по временам говорить: «Упокой, Господи, душу раба Твоего» — с таким чувством, что молишься о родном человеке.



Помогите Иисусу Христу!



В одном большом селе, где была одна церковь и два магазина, возле клуба на доске объявлений появился плакат: «Помогите Иисусу Христу!» Плакат был написан от руки тушью на большом куске ватмана. Внизу приписка: «Сбор добровольцев в 16.00 во дворе храма», а в правом верхнем углу мелкими буквами: «Срочно всем, всем, всем!»

Уже в половине четвертого во дворе церкви былолюдно. Пришло много женщин с едой и лекарствами. Они шептались между собою о том, что Иисус, быть может, пришел опять на землю. И какое счастье, что именно к ним. Может быть, Он голоден или болен? Каждая готова была взять Его к себе в дом, разве что боялись мужей. Еще бы! Эти грубияны не читают Евангелие, а по воскресеньям идут не в храм, а на охоту или рыбалку.

Впрочем, и мужчин собралось немало. Они несли в тяжелых и загорелых руках кто винтовку, кто тесак, кто топор. Быть может, думали они, Христу нужны наши сильные руки?

Ровно в четыре дверь храма со скрипом открылась и наружу вышел священник. Народ замер и, вытянув

шеи, желая разглядеть за спиной у пастыря готовящегося выйти Господа. Но за спиной была лишь открытая дверь и полумрак церкви.

— Люди, — сказал священник громко, — слушайте!

Народ замер. Все дышали в полвздоха, и, если бы можно, перебили бы всех коров, как раз замычавших на дальнем выгоне.

— Вы знаете сами, и я говорил вам об этом часто, — продолжил священник, — что Господь наш Иисус Христос покорил мир, но не мечом, не огнем, не деньгами и не интригами. Он покорил мир любовью и проповедью. Ангелы удивлялись этому и просили: «Разреши, мы накажем грешников». Но Господь отвечал: «Нет, потерпите». Тогда Ангелы сказали: «Дай и нам возможность проповедовать и быть за это увенчанными». Но Господь сказал: «Это сделают люди». Содрогнулись Ангелы и в страхе сказали: «Но ведь люди слабы и непостоянны. Они болеют и умирают. Слаба их память, и мягкое у них сердце». Но Господь сказал: «Я верю людям. Я Сам стал человеком. Потрудятся Петр и Павел. Потом придут другие». После этого Ангелы больше не спрашивали, а Господь больше не отвечал. Но Его очи и очи Ангелов с тех пор смотрят на землю внимательно.

Голос священника зазвучал громче:

— Кто из нас готов помочь Иисусу Христу разнести по Вселенной Его Евангелие?

— Далеко ли нужно идти и на каком языке проповедовать? — спросил один из стариков.

— Для начала, — ответил священник, — простите друг другу долги, помиритесь с обидчиками и покайтесь, если кто утаил чужое или изменил жене!

Шум пробежал меж людей, как рябь пробегает от ветра по поверхности озера.

— Потом мы объявим пост и будем усердно молиться. Выберем способных юношей и отправим их учиться языкам, чтобы затем пойти во все страны с проповедью. Мы будем помогать тому из нас, кто болен, научим всех петь псалмы. Затем закроем кабак...

На слове «кабак» шум мужских голосов перекрыл голос священника.

— Ты обманул нас, отец. Мы пришли помочь Самому Иисусу, а видим тебя и слушаем то, что ты по воскресеньям рассказываешь нашим женам.

Мужики, ворча и поругиваясь, стали медленно расходиться. Некоторые досадно сплевывали.

— Но ведь Бог благословит наши пашни. Ваши дети будут здоровы! — закричал священник. — Все жители Неба о нас порадуются...

Мужчины медленно, но уверенно расходились. За ними потянулись женщины. Через десять минут площадь перед церковью опустела. Мычали коровы, кричал петух, но голоса их никого не раздражали.

Священник вошел в алтарь. Весь тот вечер и ночь он пролежал перед престолом опустив на землю лицо. Он прослужил в том селе еще лет пятнадцать. На его глазах и через его сердце прошли крестины и похороны, неурожай, болезни, падеж скота, драки соседей из-за передвинутой межи. Служить и молиться он любил. Только вот никогда с тех пор больше не проповедовал.

Потом его куда-то перевели. Люди повздыхали, пожалели и забыли. Потом и Бог забыл село. Оно как-то скисло, поредело, а затем исчезло. Забылось даже имя села. Да и как ему не забыться, если ни район, ни ближайший город, ни сама страна, где все произошло, ни у кого не удержались в памяти.



Попутчик



Если путешествовать нечасто, то дорогу я люблю. Есть в ней что-то честное и на саму жизнь похожее. Из одной точки выехал — во вторую еще не приехал. И так хорошо в этом зависшем состоянии смотреть в окно, грустить и думать. Я говорю о поезде. Потому что если самолет, то это быстро и всегда чуть-чуть страшновато. А если машина, то это уже труд, а значит, не до философской грусти и не до размышлений. Единственное, что мне по-настоящему мешает, это говорливые попутчики. Я согласен на не открывающиеся окна и сырые простыни, лишь бы в пути меня никто не трогал. Но лучше готовиться к худшему, чтобы потом быть приятно удивленным, чем мечтать о своем и разочаровываться. Поэтому и в тот раз я вошел в вагон, нашел свое купе и, энергично рванув ручку двери, сказал: «Здравствуйте». Ни одна пара глаз на меня не уставилась. Царица Небесная! Никого! До отправления минут шесть-семь, а в купе — никого, и сам вагон — полупустой.

Вещей у меня всегда минимум, поэтому положил я свой тощий портфель на полку, повесил на плечики

пиджак и, разувшись, удобно сел у окна. Поезд уже тронулся. Уже наступил момент, когда неясно: ты едешь – или состав напротив начал двигаться. Я ждал проводника, чтобы отдать билет и попросить чаю. Дверь с силой открылась, и вместо проводника в купе вошел запыхавшийся мужик лет сорока и, так же, как я, выпалил: «Здравствуйте». Он осмотрелся, нашел глазами номер своего места и затем втащил в купе два внушительных чемодана. Настроение мое слегка упало, но уже через минуту оно опустилось до нуля. Попутчика сразу стало много. Он прятал вещи, переодевался, расстилал матрас и делал это так, что мне казалось, я знаю его и вижу перед собой не первый месяц.

Проводник забрал билеты и принес чай. За окном стало смеркаться. Поезд мерно раскачивался, колеса стучали, и этот ритм, казалось, убаюкал соседа. Он сел напротив и стал смотреть в окно. Но надолго его не хватило. Это была одна из тех компанейских душ, которые не могут жить, не разговаривая с первым встречным, да так, будто знакомы целую вечность.

– Ученый? – спросил сосед, улыбаясь и, видимо, предвкушая начинающийся разговор. Я улыбнулся в ответ и молча покачал головой, давая понять, что нет.

– Художник? – ответ тот же.

– Ну не музыкант же?

– А по какому признаку вы отбираете профессии? – спросил я. Надежда на то, что разговора удастся избежать, улетала стремительно, как деревья за окном.

– Так ведь борода и хвостик, – попутчик произнес это с торжествующей интонацией, мол: «Врешь, брат, меня не обманешь».

– Я – священник.

На секунду мужик замер. Наверное, лихорадочно соображая, что говорить и как вести себя дальше. Но уже через несколько мгновений его лицо изобразило гримасу абсолютного счастья, и он произнес фразу, которая непременно была бы произнесена, будь я хоть трижды художником, хоть дважды ученым:

— Так что, по маленькой?

— Спасибо, не хочу. Завтра рано вставать, — ответил я.

Но сосед уже разворачивал шуршащий кулек и раскладывал на столике сваренные вкрутую яйца, пластмассовый судок с котлетами, хлеб, что-то еще и, конечно, бутылку.

— Николай. — Сосед протянул мне руку.

— Отец Леонид, — ответил я и тоже протянул руку.

Водка уже была разлита в пластмассовые стаканчики, когда я сказал: давайте помолимся перед едой.

— Давайте, — обрадовался Николай. Видно, это было изрядной новизной в его опыте. — А какую молитву?

— «Отче наш».

— О, эту я знаю. Я вообще только ее и знаю. Меня один негр научил.

— Негр? Сектант?

— Наш, православный. Ведь вы православный? — вдруг спросил Николай и насторожился.

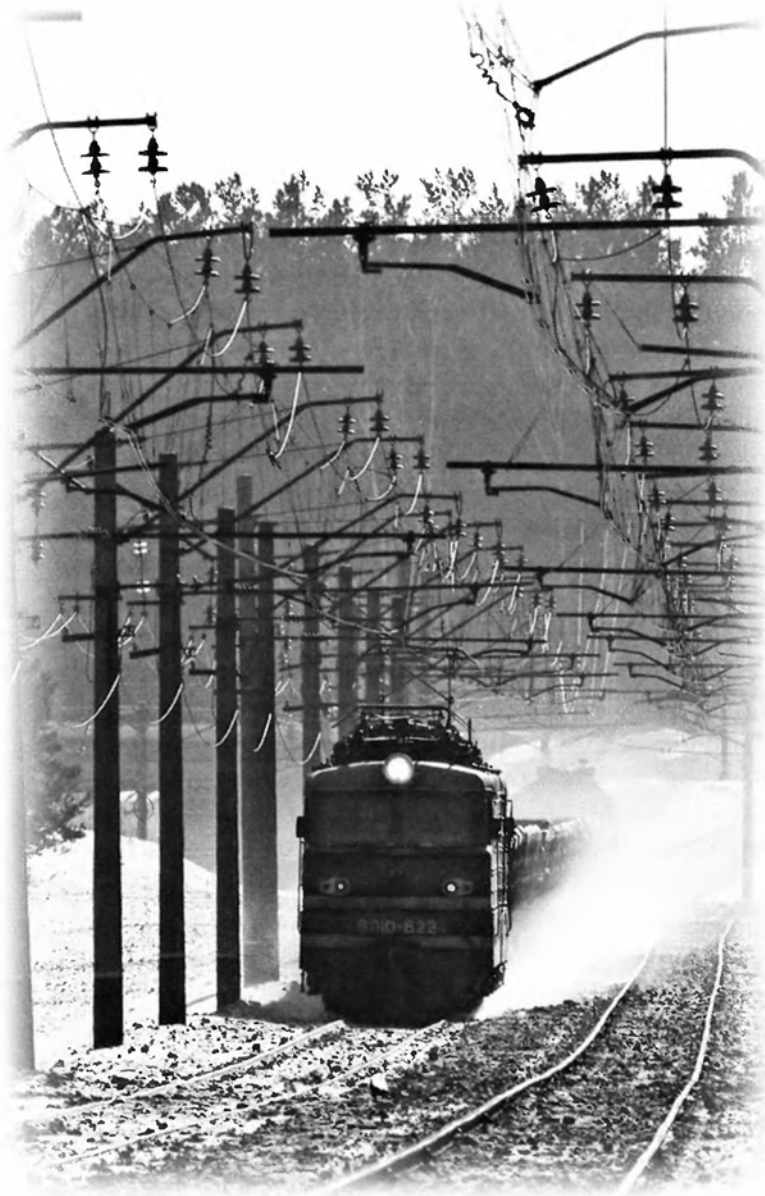
— Да.

— Ну вот, и он был православный. Это лет двадцать тому назад было.

— Расскажите.

— С удовольствием.

Не вставая, мы прочли молитву Господню, я благословил еду, мы выпили по первой, и Николай начал



рассказ. Находя его интересным, я хочу поделиться тем, что тогда услышал, и с тобою, дорогой читатель.

* * *

— Это было в начале девяностых. Я только что вернулся из армии, пару месяцев погулял, подумавшись и устроился на работу. Работал в театре монтажником сцены. Ну типа грузчиком или разнорабочим. Мы декорации к спектаклям монтировали и постановки оценивали по-своему. Плохой спектакль — это когда декораций до фига, а хороший — если пара стульев или еще чего-нибудь полегче. Однажды иду на работу днем, на дневной спектакль, вижу — навстречу Игорек идет, одноклассник. Он в армию из-за института позже ушел и еще дослуживал. Домой в отпуск приехал. Мы обнялись, парой-тройкой слов перебросились и договорились вечером после позднего спектакля встретиться.

Встретились, пошли в кабак.

На этих словах Николай налил по второй, и мы выпили. — И там он мне рассказал о своей службе. Игорь был мужик спортивный, и забрали его в ВВ — «виноват-военкомат» (в милицию, то есть). Время было дурное, Союз разваливался, кругом конфликты. Его послали в Карабах. И там у него поехала крыша. Парень здоровый, на вид молодой, а тут резня, что те, что эти друг друга убивают. Игорь говорит — я разобраться хотел, кто виноват, в чем дело? Так ни в чем и не разобрался, только возненавидел и азеров, и армян.

Ну мы пьем, разговариваем. Я смотрю, он смолкает потихоньку, пьет, больше не закусывает. И глаза у него дурные становятся, стеклянные. Потом он стал кулаком по столу бить. Короче, мы расплатились и вышли. Уже стемнело. Его развезло, и он забыл, что дома, в отпуске. На моих глазах вырвал в сквере из

лавки дубье и орет: «Звери! Сволочи!» — и все такое. Я уже не рад, что его встретил. Думаю, как такого бугая домой тащить. Вдруг в конце улицы блеснули фары. Машина тихо едет на нас. Игорь вроде протрезвел в секунду и шепотом мне говорит: «Сейчас будем их брать. Не ссы, меня учили». Он ложится поперек дороги и складывает руки на груди, типа мертвый. Я стою в трех шагах за деревом и думаю, на кой хрен я с ним связался. Машина медленно подъезжает. Тушит фары... Ё-мое, ментовский бобик. Все, думаю, труба, приехали. Но стою, не убегаю.

Из машины выходит мент, наклоняется над Игорем. Тот хватает его за китель и орет: «Коля! Вали его, я его держу!» Я как дурак выхожу из-за дерева и становлюсь рядом. Из машины выскакивает второй, по рации, слышу, зовет подмогу. Они вдвоем борются с Игорем и пробуют его из баллончика успокоить. Тот орет: «Сержант! Меня — “Черемухой?”» Короче, это идиотство длится минуты три. Подъезжает второй «воронок», нас вяжут и везут в райотдел.

* * *

Николай хотел налить по третьей, но я его удержал. Тело и так наслаждалось разлившимся теплом. Хотелось сидеть не двигаясь и слушать, что было дальше.

* * *

— Привозят нас к дежурному, — продолжал Николай, — и разводят в разные стороны. Игоря как буйного утащили куда-то, я остался один. Заполнили протокол, дали мне пару раз в душу для профилактики и закрыли в клетку до утра. Конечно, деньги забрали, ремень и шнурки вытащили, пендаля под зад дали, все как положено. И вот там, в клетке, в райотделе, и был тот самый негр, который меня «Отче наш» научил.

— А он что там делал?



— У него документов не было. Он вообще из России был. Мы с ним до утра проболтали, он мне много про себя рассказал. Где он там родился, не помню, я вообще в географии слаб. В Москве учился и там женился. Жена хотела с ним венчаться и покрестила его. Ну она так, для красоты хотела, а он серьезно в нашу веру въехал. Стал в церковь ходить, молиться. Жена даже думала, что он чокнулся. А он, понимаешь, полюбил Православие. Бабки, говорит, от меня в церкви сначала шарахались и крестились. Священники с недоверием относились. А потом привыкли, полюбили его.

— Как его звали?

— По-нашему вроде Сергеем. В честь святого...

— Сергия Радонежского.

— Во. Точно. А по-ихнему я не помню. В общем, он зачем-то приехал к нам. Его вечером остановили. Документов не было, и его до выяснения закрыли.

— А молитва?



— Ну вот, он говорит: «Давай помолимся». А я ему: «Не умею». Он говорит: «Я научу». И стал читать «Отче наш». Прочел раз, потом говорит: «Повторяй» — и стал читать по кусочкам. Потом начал мне объяснять смысл. Я обалдел! Там столько разных вещей! Он еще говорил, что в этой молитве вся Библия скрыта. Слушай, так прикольно было. Мы с ним «Отче наш» еще пели вместе. На нас менты как в зоопарке через решетку смотрели и пальцем показывали. Один — негр. Черный, аж фиолетовый. А другой — белый, только что задержанный при нападении на патруль. Сидят на нарах и «Отче наш» поют. Комедия!

* * *

За окном стемнело, в купе зажегся свет. Мы выпили по третьей и закусили. Я уже не жалел, что еду с попутчиком. История была не просто интересной, она была многозначной. Это ж надо так отбиться от веры нашему народу, чтобы не отец и мать, не крестная и не священник, а чернокожий иностранец научил нашего

человека молитве Господней! Это ж надо, до чего простирается Промысл Божий! Ведь можно встретить друга, попасть в дурацкую ситуацию, сесть до утра за решетку. И все для того, чтобы там, за решеткой, услышать неожиданную проповедь.

— Давайте ложиться, — сказал я Николаю. — Завтра вставать рано.

Николай помолчал немного, видно, ему хотелось еще что-то рассказать.

— Ну давайте, — наконец сказал он и стал собирать в пустой кулек яичную скорлупу и прочий мусор.

Я забрался на верхнюю полку, вытянулся с удовольствием, подложил руки под голову и закрыл глаза. В тот вечер мне думалось о чем-то легком и светлом. Под эти светлые мысли и стук колес я и уснул.



Бедный он всегда бедный



Чтобы человеку среднего достатка почувствовать себя бедняком, нужно зайти в большой магазин. Или в маленький, но тогда — дорогой. Или в обычные магазины, но — часто.

Елки-палки, шел себе, ни о чем не думал, был доволен жизнью, и вдруг — раз, и почувствовал себя нищим. Ничего не хотел, пока ничего не видел. Потом вдруг увидел и все захотел.

Так я гулял по одному городу в Прибалтике (какому — не скажу). Чуть не сказал «по одному небольшому городу», как будто там есть большие города.

Это уже была граница. Уже были визы, таможенные сборы, декларации. А ведь я бывал там еще школьником. Ходил с экскурсией по всевозможным улочкам и соборам, дышал заплесневелым воздухом и впитывал впечатления.

А теперь оказался там опять на пару дней по личным делам и снова ходил по тем же улочкам, вспоминал детство и вглядывался в лица прохожих.

Ходить по магазинам я ненавижу. Выбирать, присматриваться для меня так же тяжело, как для

приговоренного к повешению выбирать себе веревку. Но если уж я дорвусь до покупок — держите меня! Легче будет вытащить из-за стола с зеленым сукном заядлого картежника, чем меня оттащить от покупок. И накоплю же всякой дряни, так что месяц будет стыдно, но не успокоюсь.

Так было и в тот раз. Славянская моя душа презрительно отворачивалась от витрин и созерцала шпили соборов и порхающих голубей. Но так было лишь до первого захода в магазин. Стоило мне зайти в магазин мыла, как я вышел из него с полным кулком пахучего товара и без четверти денег в кармане. Потом был магазин сувениров, магазин янтаря, магазин с бальзамами (впрочем, я обещал не говорить, в каком городе был).

К вечеру, когда солнце лизнуло красным языком своим шпили церквей и черепицу крыш и закатилось на отдых, когда ночь вывела на улицу одних людей и накрыла других одеялом законного отдыха, я остался на улице чужого города. До поезда оставалось еще три часа.

Злой на себя за дурно потраченные деньги, я пошел на вокзал пешком. Есть и такое в славянской душе — проиграв миллион, экономить на спичках. И вот по дороге, когда до вокзала оставалось идти минут десять, увидел я магазин чая. Чай мне нужен был, как зайцу стоп-сигнал. Но привлекло то, что там люди не только покупали, но и пили чай.

— Здравствуйте.

Ни одна душа не отреагировала, как будто сговорились. «Гады, националисты», — подумал я, и к букету испорченного настроения добавилась еще одна пикантная нотка.

— Можно чаю?

— Зеленого, черного? С жасмином, с бергамотом, с липой? С сахаром, с медом...

— С медом, — выпалил я, потому что понял — если продавщицу не прервать, то бесстрастно произносимый ряд товаров и услуг будет звучать до отхода моего поезда.

Она назвала цену и стала заваривать чай. Я прислонился к стене кульки и расстегнул пару пуговиц на плаще.

Минуты через две чай мне подал юноша лет шестнадцати, голубоглазый и курчавый, похожий на мать.

— Ваш сын? — спросил я от нечего делать.

— Да, — буркнула хозяйка, давая понять, что не хочет вступать в разговор.

В это время двери хлопнули, и из магазина вышел последний кроме меня посетитель. Было уже довольно поздно.

— Вы гость? — неожиданно спросила хозяйка, энергично вытирая прилавок.

— Да, — ответил я, тоже давая понять, что не желаю продолжать разговор.

— Вам понравился наш город?

— Ужасно, — сказал я, и в этом не было ни капли неправды.

— Вы купили, я вижу, много подарков. Может, купите у меня несколько пачек чаю? Есть чай из Цейлона, Индии, Китая...

— Нет, нет. Поверьте, я люблю чай, но сильно потратился и не могу купить ничего, кроме постели в поезде.

— Ладно, — сказала хозяйка и продолжила остервенело и молча протирать прилавок.

Лимон плавал на поверхности, чай дымился, а я дул на него, потому, что не умею пить горячее.

— У вас есть дети? — спросила вдруг хозяйка.



— Да. Двое. Девочки.
— Вы счастливый человек.
— Согласен. Но ведь и вы счастливы. У вас есть сын.

— Мой сын... — Она произнесла эти слова мечтательно и мягко. Потом, будто вспомнив, что здесь посторонние, добавила сдержаннее: — Это мое счастье и моя опора. Вы похожи на доктора, — продолжала она. — Я пожал в ответ плечами. — И мне хочется поделиться с вами тем, что у меня на душе.

— Я — незнакомый вам иностранец.

— Тем лучше. Вы никому не расскажете и, может, никогда больше не будете в нашем городе.

Я пил чай, а она продолжала:

— Я хотела его убить. Его отец бросил меня, и я хотела сделать аборт. Подруга договорилась с доктором, тетя дала деньги, и я пошла в больницу. Мне было лет двадцать. Никто ни о чем ни разу не говорил со

мной серьезно. Что я могла понимать? И вот я вхожу в кабинет, ложусь по приказу на кресло...

Она все терла уже сияющий прилавок и не поднимая глаз продолжала рассказ. Из подсобки слышно было, как мыл стаканы и что-то мурлыкал под нос ее сын.

— А за окном больницы — храм. И там начинается служба. Был какой-то праздник. И вдруг начинают звонить колокола! Звон врывается в кабинет, а я лежу на кресле с расставленными ногами. Доктор гремит рядом своими хирургическими инструментами... И вдруг какая-то сила подбрасывает меня на ноги, я одеваюсь на ходу и пулей вылетаю из кабинета. Этот звон стоит в моих ушах до сегодняшнего дня. Я слышу его каждый раз, когда смотрю на моего мальчика. Страшно подумать, что его могло бы не быть рядом со мной.

Мой чай остывал. Я пил его и смотрел на женщину, которая, казалось, разговаривала сама с собой и вытирала прилавок.

— Спасибо. Мне пора на поезд.

— Жаль, что вы ничего не купили у меня для своих девочек. Но все равно, будьте здоровы.

Я вышел из магазина и поспешил на вокзал.

В поезд я вошел за две минуты до отправления.



Золотая рыбка



Мы не живем у моря. Его близость не чувствуется в воздухе, которым мы дышим. Солнечный шар, шипя и багровея, не прячется в воду на наших глазах с наступлением вечера. Море от нас далеко, и муж мой не рыбак. Это значит, что, мысля логически, нам никогда не поймать золотую рыбку. Нет, не подумайте, я не старуха и вовсе не злая. Я — молодая и красивая (все еще довольно красивая) женщина. В транспорте меня называют «девушкой»: «Девушка, вы выходите?», «Девушка, извините». Только глаза у меня грустные и предательские морщинки в уголках рта говорят о том, что я ужасно устала. Не мудрено устать от жизни, когда у тебя на руках трое детей и весь дом ты тянешь на себе сама, а муж... а этот хозяин семейства, добытчик и отец трех наших малышей с утра до вечера пропадает на работе. Жизнь проходит. Я не жалею, нет. Но ведь жизнь проходит, а я еще вроде бы и не жила. Сердцу все время чего-то хочется. Оно то сжимается в комочек, то сладко ноет, то грустно поет. А дети то и дело: «Мам, дай то», «Мам, дай это», «Мам, пойдём

туда». И я, ей-Богу, послала бы своего благоверного на море ловить золотую рыбку, чтоб наконец стать по-настоящему счастливой и беззаботной. Но, как я уже говорила, живем мы от моря далеко, муж мой не рыбак, и дома у нас нет не только невода, но даже обычной удочки.

И надо же такому случиться, что рыбка, та самая, волшебная, оказалась в нашем доме. Она оказалось вовсе не золотой. Она вообще была не «она», а «он». Это был зеркальный карп огромных размеров (но в остальном он был такой же, как в сказке — говорящий и волшебный). Это ведь не важно, правда? Ведь не смущает же нас то, что «черный ящик» в самолете на самом деле — шар оранжевого цвета.

Мы купили этого карпа в супермаркете. Когда мы его купили? На Рождество. Ну конечно, на Рождество. Дома, вынутый из кулька, он жадно открывал рот и бил мокрым хвостом по столу. «Давай пустим его в воду», — попросил четырехлетний Антошка. «Не морочь мне голову», — привычно ответила я и стала надевать фартук. «Ну давай, мамочка», — подключилась трехлетняя Дашка (они у меня по годки). «Цыц!» — прикрикнула было я на них, но потом подумала: «Почему бы не сделать малышам приятное?» К тому же я страх как не люблю разделять рыбу и лучше, если это сделает вернувшийся с работы муж.

Мы набрали воды в ванну и пустили туда рыбу. Минут пять она лежала без движения, но потом освоилась и вскоре, к неописуемой радости малышни, стала плавать взад и вперед по явно тесному для нее пространству. Детям все надоедает быстро. Покормив карпа крекером и заливаясь от хохота, похватав карпа за хвост, дети ушли в свою комнату. А я зашла



Золотая рыбка

в ванну, чтобы снять с батареи выстиранное кухонное полотенце.

— Спасибо тебе, — вдруг раздалось в ванне, где кроме меня никого не было. В ужасе я стала оглядываться по сторонам.

— Это говорю я, — раздалось из ванны.

— Ты?! — Я прислонилась к стене и обхватила голову руками. Хорошо, что никого рядом не было. Муж временами говорит, что я сумасшедшая, но не до такой же степени.

— Не удивляйся, — продолжала рыба (клянусь, это была она). — У меня нет короны, и я, как бы это правильнее выразиться, мужчина. То есть не «рыбка». Но для вас, людей, это не должно иметь никакого значения. Я могу делать все, в том числе — исполнять желания.

В голове у меня все закрутилось, как на карусели. Зеркальный карп, золотая рыбка, исполнение желаний... Что загадать, чего просить?

— Только не будь дурой.



Ничего себе! Этот нахал, плавая туда и сюда в моей ванне, смеет меня оскорблять! Да я еще полчаса назад могла выпустить ему кишки и, обваляв в муке, положить на сковородку.

— Не будь душой. Ничего не загадывай. Ты и так — счастливая женщина. Сотни королей умерли бездетными. Они не могли, как ты, кормить грудью и спать в обнимку с детьми, слыша их посапыванье. Тысячи известных и богатых женщин несчастны в браке. А твой муж тебя любит. — Карп, этот нахал, помолчал и добавил: — И ты любишь его. Я мог бы часами перечислять те виды счастья, которыми ты пользуешься. Но тебе нужно заметить их самой. Оглянись вокруг внимательнее и будь благодарна.

В это время из детской раздался звон разбитого стекла. Я выбежала из ванны, как будто на воздух из душевой комнаты.

— Мама, Дашка разбила вазу!
— Неправда! Это он разбил!
— Зайчики мои! — Я сгребла их в охапку и поцеловала обоих. — Не переживайте. Сейчас уберем.

Мы быстро убрали осколки и стали вместе возиться на кухне. Вскоре из школы пришел Петя. Про рыбу как-то странно все позабыли. И только когда вечером с работы пришел папа, Антон сказал ему: «У нас в ванне теперь живет рыба». — «Какая рыба? — спросил отец. — Айда, поглядим».

Когда мы пришли в ванну, рыбы не было. Ничто не говорило о том, что она там была. Вода была чиста, как будто только что набрана. Муж шутя потрепал за ушко младших и ушел доедать ужин. Они галдели и обижались, просили подтвердить, что в нашей ванне еще недавно жила рыба. А я смотрела на мужа и детей какими-то другими, новыми глазами и потихоньку понимала, что рыба была права: я и вправду счастливая женщина.

За окном шел снег. Рождество, как и положено, заявило о себе тихим чудом. Мы уложили детей спать и долго вдвоем сидели на кухне. Муж рассказывал о своей работе, о проблемах, о планах. Я слушала его рассеянно и смотрела на него так, как смотрела до замужества.



Случай в бакалейной лавке



Эту историю я слышал давно от священника, которого уже нет в живых. Но верьте, «со-весть в том порукой», я ничего не добавлю от себя к этой словесной картинке, кроме разве что рамки. Не прикалывать же картинку канцелярской кнопкой к дверному косяку. Пусть висит, как положено, в рамке.

* * *

Дело было в Польше между Первой и Второй мировыми войнами. Конкретней — в Восточной Польше, той, что до операции «Висла» была плотно заселена украинцами. Еще бациллы социализма, национализма и атеизма не разложили народную душу. Еще в каждом селе была церковь и через каждые сто километров сзды в любом направлении можно было приехать к воротам монашеской обители.

В городках торговлю вели евреи. Даже сегодня (сам видел), когда с домов в западных городках сползают под действием дождя и снега поздние слои побелки и штукатурки, советской и самостийной, на стенах проявляются таинственные еврейские письмена. Это

не каббалистические знаки. Это внешняя реклама и магазинные вывески, написанные на языке идиш при помощи букв, на которых Бог даровал людям «мицвот», то есть заповеди. «Только у нас лучшие ткани», «Арон Верник и сыновья», «Самое вкусное масло» — все это было написано на идиш и польском. Не берусь судить о качестве продуктов и мануфактуры, продававшихся в еврейских лавках, но краски, которыми были расписаны стены, намного лучше сегодняшних.

История, которую я хочу пересказать, напрямую касается двух этно-религиозных групп довоенной Польши — украинцев и евреев. И тех и других в Польше было много. И тех и других поляки недолюбливали. Поверьте, я выразился крайне сдержанно.

Главный герой нашей истории, он же и первый ее рассказчик, был послушником в одном из православных монастырей. Это был крепкий парень, ходивший в подряснике и скуфейке, однако не принимавший обетов и имевший право в любое время уйти из обители и жениться. Добавлю сразу, что это он со временем и сделал, так как я знал его почтенным протоиереем и отцом семейства. Но в то время в его обязанности входило чтение псалмов на утрени и часов перед литургией, а также помощь в хозяйственных делах одному из самых стареньких монахов обители. Подмести в келье, растопить печь, выбить напольный коврик да сбегать раз в неделю в соседскую лавочку за сахаром и чаем — вот и весь перечень обязанностей нашего одетого в подрясник молодого человека. Вы, наверно, догадались, что соседская лавочка принадлежала еврейскому семейству. Там был и чай, и сахар, а кроме чая и сахара еще мука, подсолнечное масло, глиняная посуда, скобяные товары, амбарные замки



и еще куча всякой всячины. Там же можно было за умеренную плату наточить затупившиеся ножи и ножницы. Хозяином лавочки был старик, имени которого рассказчик нам не поведал. Забыл, должно быть. Но он не забыл, что старик был учтив с покупателями, учтив без всякого льстивого лицемерия, и с особым почтением относился к монахам.

Я и сам видел эту сознательную учтивость. Когда не очень умный гид потащил меня в Иерусалиме к Стене плача прямо в рясе и с крестом, то старые евреи смотрели на меня смиренно и спокойно. Я бы сказал, что смотрели они с пониманием, а некоторые даже... боюсь зайти в таинственную область. Зато молодые выпучивали и без того выпученные глаза, гневно смотрели на крест и рясу, шумно втягивали соплю из носа в глотку и харкали мне под ноги. Если бы не вездесущие полицейские, несдобровать бы мне. С тех пор всякий раз, когда читается в церкви об убийстве Стефана, выпученные глаза, сверкающие из-под широких шляп, оживают в моей памяти.



Итак, хозяин лавочки был стар, но у него был сын, и сын был молод. И не старый хозяин, а его молодой сын стоял за прилавком чаще всего. Сынка звали по-нашему Соломон, по-еврейски – Шмуэль, сокращенно – Шмуль. Он был одним из тех людишек, которые

способны жить только в двух режимах — загнанного под лавку труса или бессовестного наглеца. В ту пору Шмуль жил во втором режиме.

Этот по возрасту неумный, а по характеру нехороший человек где-то поверхностно ознакомился с Новым Заветом. Запомнил он из этой книги только одну фразу. Ту, в которой говорится о подставлении левой щеки после удара в правую. Стоит заметить, что армия туповатых людей, знающих из Евангелия только эту фразу и на основании только этой фразы не верующих в имя Господа Иисуса, весьма велика. Шмуль завел себе правило, как только увидит нашего послушника в своей лавке, обращаться к нему с одним и тем же вопросом: «А правда, что вы должны после удара в одну щеку подставлять другую?» После этого следовал удар по лицу, не шибко сильный, но обидный. Послушник краснел, терпел скрепя сердце, покупал необходимое и пулей уносился в монастырь. Так продолжалось довольно долго. Виной тому — провинциальная скука. Ведь где найти развлечение стоящему целыми днями у прилавка молодому человеку?

Зато для послушника походы за чаем и сахаром превратились в настоящую пытку. Накануне выходов за покупками он заранее то краснел, то бледнел, то покрывался испариной. Как ни был стар его духовный отец, от его глаз страдания послушника не скрылись. Старец расспросил подробно юношу о его тревогах, и тот, расплакавшись, облегчил душу подробной исповедью. В тот вечер они беседовали долго. Что такое рассказывал старый монах молодому послушнику, мы не знаем. Однако следующего похода в лавку послушник ждал с большим трепетом, нежели впоследствии ждал свидания с будущей матушкой (так он сам говорил).

* * *

В урочный день бодро шел наш герой в лавку, перешагивая лужи и разминая крепкий крестьянский кулак.

Шмуль, как вы уже догадались, был лишен оригинальности. Регулярно терроризируя своего покупателя, он не утруждал себя переделкой сценария. Перед тем как ударить, он задавал один и тот же вопрос: «А правда, что вы должны...» — и так далее. Но в этот раз представление было сорвано. «Ты читаешь Евангелие? — спросил послушник. — А я читаю Ветхий Завет. Там сказано: “око за око, и зуб за зуб”». С этими словами молодой человек, так и не ставший монахом, но ставший отцом семейства и протоиереем, крепко приложился своим крестьянским кулаком к нахальной физиономии Шмуэля-Соломона. Чуда следовало ожидать. Палач превратился в жертву, и режим безнаказанной наглости сменился режимом полубморочной трусости.

С тех пор Шмуль учтиво кланялся, издавек видя развевающийся на ветру подрясник. Он больше не вплетал религиозные мотивы в рабочие отношения и ограничивался классической формулой «Деньги — товар — деньги-штрих».

* * *

К чему я это рассказываю? Может, кто-то подумает, что затем, чтобы долить масла в догорающие антисемитские костры. Не дождетесь. Я люблю Богородицу и не могу не любить народ, в котором Она родилась. Так для чего же? Почему мне знать. Разве знает кенарь в клетке или соловей в роще, в чем смысл его пения? Знает ли жаба, зачем она квакает? В одной агаде, правда, говорится, что знает. Давид однажды помыслил, что больше и лучше всех хвалит Бога. Тогда лягушка

заговорила и смирила царя. Она сказала, что больше, чем он, поет во славу Божью. Причем знает множество мелодий и у каждой есть множество вариантов.

* * *

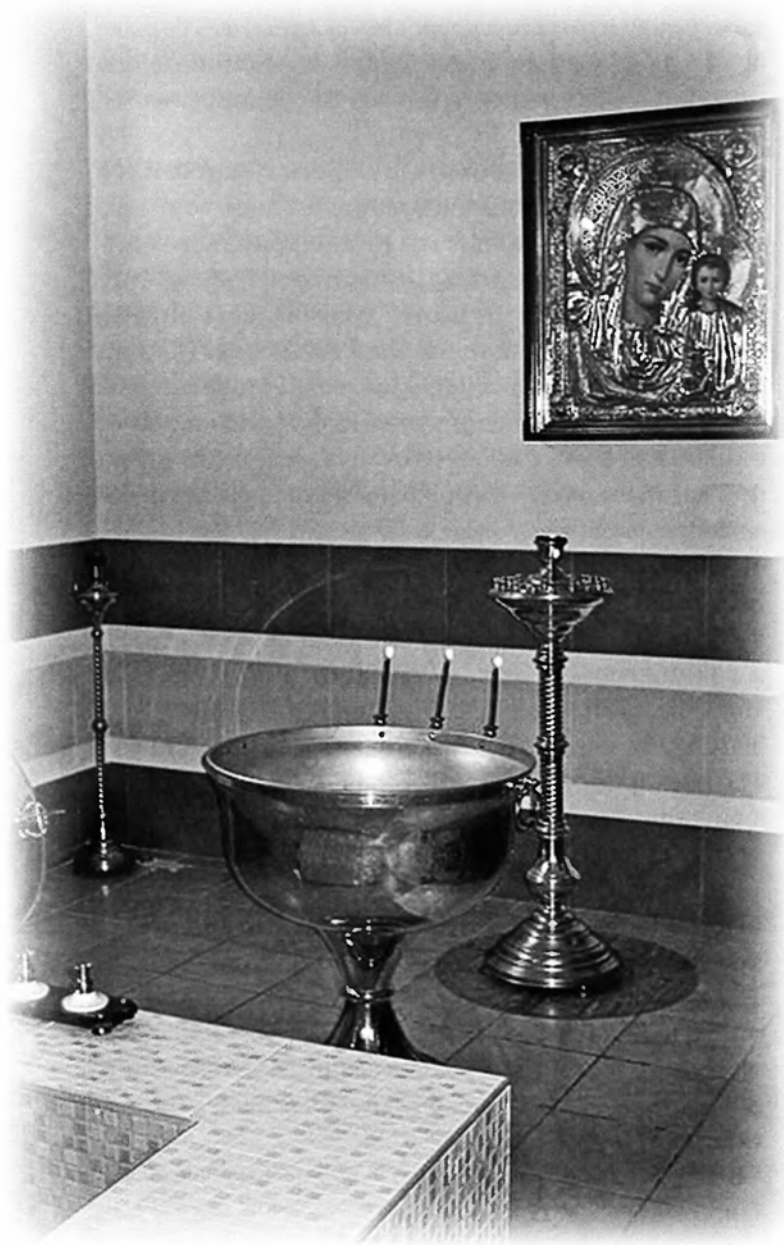
Но есть, конечно, есть в пересказанной мною истории смысл. Есть, как говорила Алисе королева, «мораль». Не все проблемы нужно решать духовно. Пусть духовные вопросы решаются духовно. Пусть душевные вопросы решаются душевно. Ну а мирские вопросы пусть решаются по-мирски. А то мы склонны всегда надеяться на явное чудо, вот и ставим свечки за негодяев, вместо того чтобы дать им по шее. Одна старенькая прихожанка, жившая одиноко, говорила при мне батюшке: «Батюшка, у меня кран течет, помолитесь». Он ей отвечает: «Сантехника зовите». Но она не понимала. Продолжала просить молитвы. Вот так, бедная, путала мирское с духовным.

Конечно, нужен и старец, чтоб подсказать, где и как поступать. Ведь недаром он с послушником долго разговаривал.

Короче, евреи здесь ни при чем и послушники ни при чем, равно как и довоенная Польша. Все дело в рассудительности, которая есть высшая добродетель.

* * *

Будем считать, что это мое размышление и является рамкой для картинки, нарисованной рассказчиком и живым участником происшествия. Но согласитесь, не прикалывать же картинку канцелярской кнопкой к дверному косяку. Пусть висит в приличной рамке на стене среди фамильных портретов и натюрмортов, купленных на вернисаже.



Совершенно достоверная история



Эта совершенно достоверная история имела место как-то вечером в одном из пригородов большого города. В его окрестностях расположен международный аэропорт, название которого сознательно умалчивается по вполне понятным причинам.

Те, кто живет близ железнодорожного вокзала, достойны сострадания. Их чайные ложечки в стаканах то и дело дребезжат в такт идущему за окнами поезду. Их дети в первые месяцы после появления на свет периодически вздрагивают от гудков, свистков, лязга и скрежета, чтобы затем привыкнуть к этим звукам навсегда и уже никогда не вздрагивать. Жители этих кварталов себя самих всю жизнь ощущают то ли куда-то уезжающими, то ли откуда-то возвращающимися. И невозможно иначе себя ощущать, если воздух все время пахнет так, словно ты находишься вблизи ожидающего отправления поезда, да плюс привокзальный люд, да плюс специфическая неряшливость (если не сказать жестче).

То ли дело жители района, соседствующего с аэропортом. Ни тебе бомжей, ни тебе прочей

привокзальной публики. Только машины плотным потоком стремятся из города в терминалы и обратно. Вместо железного лязга на стыках — благородные белые полосы в синем небе. Внутри — суетно, но порядочно, и кофе в баре за пятьдесят гривен за чашку. Аэропорт — это чистота. Аэропорт — это технологический восторг и опрятность. Короче — цивилизация.

* * *

Как-то поздним осенним вечером в окно священника, жившего вблизи аэропорта, постучали. Пусть мы еще не живем так, как живут в элитных домах Манхэттена, но все же и у нас есть дверные звонки. Зачем стучать в стекло костяшками пальцев, словно мы не в XXI веке живем? Так думал священник, выглядывая в окно и, как водится, глядя мимо того, кто стучал. Наконец их взгляды встретились. Тот, кто стучал, стоял в осенней тьме и хорошо видел хозяина. Он был довольно молод и хорошо одет, что не было заметно при взгляде из дома. А хозяин дома стоял внутри, одетый в майку с надписью «Динамо Киев». Он стоял в тепле, на кухонном свету по ту сторону стекла и шурясь смотрел на человека на улице. Окно открылось.

— Чего вам?

— Мне нужно срочно окрестить младенца.

— Что за срочность? Приходите завтра. Сегодня уже поздно.

— Завтра я не могу. Мне нужно улететь через три часа. Если можно — сегодня, сейчас. Я отблагодарю, только потом. При мне нет наличных. Через три дня я вернусь и обязательно отблагодарю. Пожалуйста. Это очень надо.

Священник — не ангел и ангелом быть не обязан. Он простой человек, облеченный непростой властью

и особой силой, но все же — человек. У него есть дети и жена, а тот, кто знает, что такое дети и жена, представляет себе, сколько сложных вещей прячется за этими краткими словами. Короче, священник нашел аргументы, чтобы отказать нежданному гостю. Их диалог закончился, и вскоре в окно еще одного священника в этом пригороде (а там их больше, чем один) постучали.

И в этом доме по причине позднего времени, отсутствия предварительной записи, сложностей с воспитателями и прочими формальными неурядицами проситель получил твердый, но вежливый отказ. Такие же отказы, приправленные просьбой прийти завтра, прослушать пригласительную беседу и прочее, проситель услышал еще в нескольких домах (священников в пригороде больше, чем два). И все же — о чудо! — нашелся иерей, изъявивший согласие окрестить дитя. Он был довольно молод и во время разговора что-то жевал (видно, встал из-за стола), но быстро понял, что разговоры неуместны, оделся, собрался и пошел на потребу.

Вскоре в гостиничном номере аэропорта под радостные улыбки родителей был крещен и миропомазан по православному чину двухнедельный мальчонка милейшей внешности. Родители срочно крещенного первенца, по всему виду, не были бедными, но наличности действительно в карманах у них не было. Поэтому папа, рассыпаясь в благодарностях, обещал вскоре священника щедро отблагодарить. Тот щек не надувал и грустным от отсутствия лишней купюры не казался. Он (по всему было видно) хотел скорее вернуться домой и засесть за недоеденный ужин. Бог милостив, и вскоре его желание исполнилось.

* * *

Самолеты продолжали регулярно чертить белые линии в синем небе, а если небо затягивалось облаками, самолеты проворно ныряли в них и после бесстрашно выныривали. Местные жители привычно работали — на таможне, в билетных кассах, на парковках и за рулем маршруток, обслуживая нужды прилетающих и улетающих. И духовенство привычно обслуживало духовные нужды населения, жившего близ международного аэропорта. Только одно обстоятельство начало смущать привычное движение жизни. Молодой священник (тот, что согласился срочно крестить малыша) ни с того ни с сего вдруг переехал в новый дом в просторную квартиру. Мало того, он еще пересел и на новую машину. И все это произошло так внезапно, что маститое духовенство пожимало плечами: «Откуда такой успех?», «Кто его спонсор?», «Чем он заслужил такую милость?»

Вопросы свистели, «как пули у виска» в известной песне из фильма про Штирлица. А ларчик просто открывался, и секрета в общем-то не было. Просто молодой попик не был болтлив, равно как и его молодая супруга.

Тот ночной гость действительно вскоре вернулся. Не через пару дней, правда, а позже. Но его и не ждали особо. «Вернется — не вернется, — думал батюшка, — какая разница? Дите крещено. Слава Богу». Но тот вернулся. И не один, а с ключами от новой квартиры. Это был один из тех людей, которые могли бы многим купить квартиры, но, встречая в жизни чаще всего корысть и зависть, временами жалели даже рубля для нищего. Молодой священник по-доброму удивил его и обрадовал. Он просто потряс его простотой и безотказностью. Весь нерастраченный жар

желания делать добро тот человек направил теперь на своего ночного благодетеля. И вот вскоре батюшка уже ночевал в новой квартире, а днем рулил в кабине хорошего автомобиля. Вокруг него, конечно, клубилось недоумение одних и зависть других. Вокруг него сплетались домыслы и выковыривались из носа догадки. Но тот, кто сумел отблагодарить достойного человека, умел и рты закрывать тем, кто открывает их не вовремя. А сильных людей у нас побаиваются. Короче, все было нормально.

* * *

В этой истории столько морали, что в двух ведрах не унесешь. И формулировать выводы вслух как-то уж очень оскорбительно. Читатель и так все, наверное, понял. И даже больше понял, чем сам писатель в записанной им истории понял. Но кое-кто так ничего и не понял. Интересно, понял ли читатель, кто же это ничего не понял?



Старик



Последние два месяца наш маленький городок не знал покоя. Все началось с того, что на улицах городка появился незнакомый старик. Он был одет в старую, но аккуратно выстиранную и заплатавшую одежду. Милостыню не просил, хотя ему и совали в руку то медяк, то мелкую банкноту. День за днем он часами просиживал на рыночной площади, а ночью его видели то уходящим в поле за город, то стоящим на коленях у закрытых ворот кафедрального собора.

Городок у нас маленький, и новому человеку в нем затеряться невозможно. Но вместе с тем люди наши воспитанные и с лишними вопросами никогда к человеку не пристанут. Незнакомый старик мог прожить до смерти и умереть в нашем добром городке, так ни с кем и не познакомившись. Мы похоронили бы его за счет магистрата и потихоньку бы забыли о нем. Но случилось нечто.

Старика полюбили дети. Они что-то почувствовали в нем и, как только занятия в школе заканчивались, бежали целыми ватагами, чтобы с ним пообщаться.

Старик уводил их на пустырь за город и там проводил с ними долгие часы. Тех, что помладше, он мог взять на колени. Старшие обступали его полукругом, и он говорил с детьми. В нашем городе старик стал еще одним, кроме школьных учителей, взрослым, говорящим с подростками.

В наш век родители слишком заняты, чтобы интересоваться жизнью детей. «Лишь бы штаны на коленях не были протерты до дыр да изо рта табаком не пахло, — думали взрослые, — а общаются пусть со сверстниками и с телевизором». Но скоро что-то похожее на ревность шевельнулось в сердцах отцов и матерей. Дети с любовью называли старика «наш дедушка». «Твой дедушка давно умер», — объясняли одни. «Твой дедушка в доме для престарелых», — нервничали другие. Дети пожимали плечами и искали повод, чтобы ускользнуть из дома.

Давно забытые слова «верность», «жертвенность», «благодать» стали проскальзывать в детской речи. Некоторые отцы стали хмурить брови, кое-кто даже порывался снять ремень... «О чем он с вами говорит?» — допытывались взрослые.

Не сговариваясь, дети отвечали: «Он рассказывает нам интересные истории».

* * *

- Мы должны знать, чему ты учишь наших детей!
- Мы перестали узнавать наших сыновей!
- Откуда ты пришел? Чего тебе здесь надо?

Толпа из тридцати человек окружила старика в то время, когда он сидел на песке с двумя мальчишками и что-то увлеченно им рассказывал.

— Песок теплый, — отвечал старик, — садитесь рядом, и я расскажу вам что-нибудь из того, что видел за долгую жизнь.

Сердца у наших людей мягкие. Долго сердиться они не умеют. Один за одним все сели на теплый песок и устремили настороженные и любопытные взоры на старика.

— В одной стране, — начал тот, — я видел людей, ненавидевших золото и любивших навоз. Если им случалось найти серебряную бабушкину брошку или сережку с крохотным бриллианчиком, они с торжественными криками и смехом шли к городской уборной и бросали драгоценность туда — в нечистоты. Зато грязь и гниль они брали в руки, подносили к солнечному свету, рассматривали и принюхивались...

— И эту чушь ты рассказываешь нашим детям? — вскрикнула одна из мам.

— Нет. Детям я рассказываю более приятные вещи, а это история для взрослых. — сказал старик и добавил: — Она про вас.

— Что-о-о? — обижено протянули двадцать взрослых человек.

— С тех пор как я стал одинок (старик прокашлялся и вытер слезу), я обошел много стран и везде видел одно и то же. В иных краях люди жили в коробках из-под телевизоров и ели то, что не всякая собака съест. А в некоторых — люди мыли шампунем тротуары и по субботам выбрасывали из холодильника на мусор тонны хороших продуктов. Но не это мучило меня. Сердце мое болело от того, что люди, жившие в роскоши, гордились собой. Они указывали на свои машины, телефоны, спутники и думали, что это — их слава и оправдание. А я плакал о них. — Старик замолчал и затем продолжил: — Если бы они показали мне страну, где мужья не изменяют женам, а жены не убивают в утробе детей. Если бы они хвалились тем,

что треть денег отдают бедным, а не тем, что летают в космос...

— А где есть такие люди? — раздался вызывающий голос.

— Я не знаю, где они сейчас. Но я знаю, где они были, и об этом рассказываю вашим детям.

— Интересно было бы послушать.

— Слушайте.

* * *

— Было время, когда христиане платили за молитву и веру кровью. Язычники не понимали этой новой секты, боялись ее, выдумывали про нее небывшие. Больше всего удивление вызывало то, что христиане боялись совершить грех, как будто им за это угрожает пытка. Они так боялись блуда или воровства, как редкий вор боится отсечения обеих рук. Сначала это просто удивляло. Потом язычники сделали свои особенные выводы. Ad leonem — ко львам, — сначала кричали они. Ad lenonem — в блудилище, — стали они кричать, когда поняли, что христиане больше боятся греха, чем смерти.

Римская империя была велика. Чтобы легче ею управлять, империю разделили на две части. Центр восточной части был в городе Никомидия. Среди христиан этого города была девушка по имени Евфрасия. Ее хотели опорочить за нежелание служить римским богам и решили отдать на поругание солдатам.

Старик замолчал, как бы подбирая слова. Родители смотрели на него внимательно.

— Девушка была мудра. Она знала, что любой солдат боится смерти и хочет быть неуязвим.

«Пойдем со мной, — сказала она. — Я знаю траву, снадобье из которой защищает человека от любого оружия. Но рвать ее может только девица. В руках

Святая дева Евфрасия



103

Старух

женщины трава теряет силу». Солдат согласился, и они вышли в лес. Евфрасия нарвала любой травы, попавшейся под руку, перетерла ее в руках и сплетенный венок положила себе на шею. «Проверь ее силу, — сказала она солдату. — Бей меня по шее мечом изо всей силы. Вот увидишь, меч отскочит, как от камня». Солдат взмахнул мечом, и голова девушки покатилась по земле.

Воцарилось молчание. Потом кто-то робко спросил:

— И что она выиграла?

— Она ушла к Богу чистой, — сказал старик.

— Она умерла и осталась лежать обезглавленной, — возразил один из слушателей.

— Ее душа чистой ушла к Богу, — раздался детский голос. Один из малышей не ушел и, затесавшись среди взрослых, слушал их разговор.

— А ну марш отсюда! — раздалась возмущенные голоса взрослых. — Не прогоняйте его, — заступился старик. — Вы сомневаетесь в том, что слышите, потому что вы многое потеряли. А они знают, что это правда, и впитывают ее как воду.

— Расскажите нам еще что-нибудь, — робко попросила молодая женщина и, обведя взглядом взрослых, добавила: — Ведь это интересно, правда?

— С удовольствием, — сказал старик и продолжил рассказ.

* * *

На севере Африки, там, где Средиземное море разбивается в пену о берег, стоит город Александрия. Даже во времена седой древности он был в сотни раз многолюднее вашего милого городка. Там было много купцов и ремесленников. Много храмов и дворцов. И самая большая в мире библиотека. Но из роскоши часто рождается грех, как и из плесени выползают мокрицы. В городе было много блудниц. Одни были жертвами обмана и несправедливости, другие — рабынями лени и похоти. Они ежедневно умирали духовной смертью и помогали умирать другим. Ими пользовались и их презирали, но никто не плакал о них. А ведь жить можно только если о тебе плачут.



Александрия

И вдруг в город пришел старый монах. Его звали Виталий. Что привело его и как родились в нем мысли, которые он воплотил, мы не знаем. Но только Виталий переписал имена всех блудниц города и стал за них молиться. А еще он стал наниматься на грязные и тяжелые работы, чтобы с несколькими монетами отправиться вечером в одно из блудилищ.

— Что он там делал? — спросила одна из мам. Кто-то из мужчин хотел пошутить, но на него посмотрели строго и он осекся.

— Он приходил к одной из женщин, — продолжал старик, — платил ей за ночь и говорил: ложись спать, а я помолюсь за тебя.

Утром, уходя, он давал ей еще монету со словами: «Прошу тебя, останься в чистоте еще ночь».

Так поступал он изо дня в день несколько лет. Люди считали его блудником, а женщины не разглашали тайны о его подвиге, потому что с них он брал клятву молчания.

Во многих блудницах дрогнуло сердце. Во многих заговорила совесть. Прежде бесстыдные и шумные, они все чаще не открывали приходившим дверей, ссылаясь на нездоровье. В некоторых комнатах появилась Псалтирь. В некоторых по ночам были слышны слезы.

— Чем все закончилось?

— Я не буду вам рассказывать всего. Пускай у вас останется жажда. Скажу только, что Виталий умер и подвиг его стал известен. Люди плакали от удивления и радости и благословляли Бога за то, что есть на земле такие человеколюбивые герои.

Воцарилась глубокая тишина. Кто-то из женщин вытирал слезы.

— Уже поздно, — нарушил тишину рассказчик. — Если ваши сердца согрелись, то я не даром прожил этот день.

Когда взрослые расходились, в спину им раздался тихий голос:

— Прошу вас, не запрещайте детям приходиться ко мне.

Вечером, шушукаясь на кухнях, отцы и матери говорили друг другу:

— Где-то я это уже слышал — не запрещайте детям приходиться ко мне.

* * *

Старик не долго еще потом пожил у нас. Недели через две он исчез так же незаметно, как и появился.

Дети к нему привязались. Они плакали, когда он ушел, везде его искали и даже молились, чтобы он вернулся.

Но старик пропал без следа.

Все это случилось за полгода до страшного землетрясения. Пять городов в нашей округе были стерты до основания, а некоторые просто ушли под землю.

По счастливой случайности наш городок остался цел и невредим. Только в доме местного патера обвалилась крыша да трещина разделила надвое здание ночного клуба.



Согретые Пасхой



Балканы. Сербская деревушка, XIV век. Стоян был самым красивым юношей не только в своей деревне, но и в ее окрестностях. Высокий, чернобровый, с уже покрытой черным пушком верхней губой, он давно заставлял тревожно биться не одно девичье сердце. Родители его умерли, и юноша жил в доме дяди-кожевника. Местные турки тоже любили Стояна, а кади* и вовсе часто звал парня к себе и подолгу с ним беседовал, угощая сладостями.

То ли кади был хитрый, то ли Стоян глупый, то ли некому было его уберечь, но решил он принять ислам. Кади уговорил. Сербы поплакали, турки порадовались, а потом жизнь потекла своим чередом.

* * *

Наступила Пасха. Светозарная ночь опустилась на Балканы. В каждом христианском селе горели свечи и радостью светились глаза людей. Сулейман — так

* *Кади — судья в мусульманских странах, единолично осуществляющий судопроизводство по закону Шариа (правовые и религиозные нормы, основанные на Коране).*



теперь звали Стояна — не мог уснуть. Он вышел на улицу, и ноги сами повели его к храму. Там только что закончилась полунощница, и крестный ход с иконами и хоругвями уже выходил на улицу. Медленно и торжественно три раза обошли люди церковь. И вот в ночной тишине раздался громкий голос священника:

— Слава Святей Единосущней и Животворящей Троице! — Сотни душ ответили «аминь», и в воздухе раздалось победное: «Христос Воскресе из мертвых!»

Сердце, как пойманная в сети голубка, забилося в груди Сулеймана. Ни о чем не думая, он побежал к людям, чтобы присоединить свой голос к их хору, чтобы обняться с ними и разделить их радость. Каков же был его ужас, когда он увидел, что все от мала до велика сторонятся его, как прокаженного. Он понял, что нарушил их радость, и на возмущенных лицах читал: «Ты не наш».

* * *

— Скажи, кади, если кто-то продал мне свинец вместо серебра, а я по неопытности купил его, законна ли эта сделка?

Судья сидел на мягких подушках и, глядя в окно, перебирал четки.

— Нет, сынок, эта сделка незаконна.

— Могу ли я отдать свинец и забрать свое серебро?

— Можешь, сынок, — сказал кади, неподвижно глядя на дерево за окном. Но уже через секунду его глаза расширились, а лицо изобразило смесь ужаса и удивления. Его приемный сын, его ученик Сулейман снял с себя турецкую феску, бросил под ноги и, наступив на нее обеими ногами, сказал:

— Забирайте свой свинец и своего Магомета. Отдайте мне мое серебро — моего Христа.

* * *

Стояна казнили на следующий день. Сначала его сильно избили, но быстро поняли, что это не поможет. Потом хотели морить голодом, но у парня в глазах было написано, что и этого он не боится. Спешили: нужно было не дать христианам окрестных сел узнать об отречении и собраться вместе. Дело могло перерасти в бунт. Поэтому юношу и судили, и обезглавили быстро.

Он вел себя смело и даже не дал завязать себе руки. Только сильно побледнел, когда увидел палача с обнаженной саблей. Были бы живы мать и отец, не избежать бы истерик и крика. А так сотни пар глаз молча и внимательно смотрели на юношу. Кто-то шептал молитву, чьи-то руки перебирали четки, кто-то лишился чувств. А турки спешили, потому что знали — кто-то мог сжимать кулаки или греть в широкой ладони рукоятку ножа.

Когда голова отделилась от тела, народ охнул и стал креститься. Мертвый он был еще красивей, чем живой. Черные глаза его были открыты, и даже не знающий грамоту мог прочесть в них надежду и молитву юноши к Тому, за Чье имя он только что умер.

* * *

В Болгарии, Греции, Сербии подобные истории не были редкостью. Пятьсот лет, шутка ли сказать — тысячелетия — христиане здесь платили за веру кровью. Подробный курс истории Христианской Церкви никто из них не читал. Может быть, имена Траяна, Нерона, Веспасиана значили для них не больше, чем для нас — фамилии китайских писателей. Но чашу мучеников они испили до дна, и опыт их был тождествен. И тех и других согревала Пасха. Не иудейская, с печеным ягненком и горькими травами, а христианская — с ночным торжеством и чувством того, что стоишь на пороге Вечности. В этом опыте стиралась грань между мирянами, духовенством и монашествующими. Перед лицом смертельных угроз пасхальная радость была общей и питала всех одинаково.

Когда молодая римлянка Перпетуя вздрагивала всем телом от звука лязгающего замка и открывающейся двери в ее темницу, то стражники улыбаясь бурчали: —Что ты будешь делать там, когда увидишь зверей на арене или разложенные перед тобой орудия пыток?

— Там, — отвечала молодая женщина, — во мне будет Другой, Который вместо меня перетерпит мои муки. Другой был со всеми и везде, где только ни лилась кровь за Его имя. Чтобы умереть за Него, мало верить верой философов и верой ученых. Нужно верить верой Авраама, Исаака и Иакова, верой Петра и Павла, верой Стефана. Эту веру рождает Пасха.

* * *

I век в Риме, XVII в Греции, XX в России... За Христа умерло и в Нем воскресло множество людей, ныне душами собравшихся воедино. Хлеб в виде зерен рассеивается по полям, чтобы потом собраться в одно в виде свежей горячей буханки. Святые живут в разных странах и в разное время, носят разную одежду и говорят на разных языках. Но имя Иисуса им понятно, кто бы его ни произнес. Сегодня они в белых одеждах стоят перед Престолом Агнца. Они пришли от великой скорби, и одежды их белы оттого, что вымыты кровью Безгрешного.

Есть смысл всмотреться в сияющие лица богомольцев на наших пасхальных всенощных, в нашем третьем тысячелетии. Возможно, мы смотрим в лица еще не прославленных святых, на иконы, еще не ставшие чудотворными...



Страна чудес



Вторую ночь подряд Петрович спал вполглаза. С боку на бок не ворочался и курить не вставал, но просыпался часто. Лежал, глядя на огонек фонаря за окном, и думал. Потом забывался коротким сном, чтобы через час опять проснуться. Его, Павла Петровича Дронова, водителя с тридцатилетним стажем, мужика, разменявшего полтинник, вот уже вторую ночь подряд тревожили слова, услышанные на проповеди.

Дело было в июле, в день праздника святых апостолов. Петрович, будучи двойным именинником (лично и по бабушке), решил пойти на службу. Во-первых, теща пристала: пойдя да пойдя. Во-вторых, храм в микрорайоне был Петропавловский. А в-третьих, хватит, подумал Петрович, в гараже да во дворе с мужиками водкой баловаться, можно на именины разок и в церковь сходить. Эта неожиданная и благая мысль пришла Павлу Петровичу еще и потому, что именины были юбилейные. Дронову стукнуло пятьдесят. Но об этом он думать не хотел, а потому в число причин юбилейную дату помещать отказался.

* * *

В церкви, как всегда на праздник, народу было — не протолкнешься. Дронов стоял возле аналоя с иконой Петра и Павла, и ему, изрядно сдавленному богомольцами, часто передавали свечи с коротким «к празднику». Жара и многолюдство сделали свое дело. Петрович, толком не знавший службу и не умевший вникать в общую молитву, скоро устал и раскаялся в том, что именины праздновал по-новому, а не как обычно. Он бы и ушел давно, но до дверей было далеко и иначе как с боем сквозь толпу прихожан было не пройти. Полегчало, когда запели «Верую». Петрович басил с народом те слова Символа, которые знал, и чувствовал при этом какую-то бодрящую и неизвестную радость, от которой хотелось то ли заплакать, то ли всех обнять. То же повторилось и на «Отче наш». А потом произошло то, что впоследствии отняло сон у пятидесятилетнего водителя Павла Петровича Дронова, человека, сгибавшего пальцами гвоздь-сотку и сентиментальностью не отличавшегося.

* * *

Священник что-то сказал из алтаря и замолчал. Завеса закрылась. Вышел мальчик в длинной одежде и поставил перед закрытыми воротами свечу. Народ как-то сразу засуетился, задвигался, зашушукал. Петрович подумал, что самое время из храма выйти, но услышал громкое «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» и решил остаться. Проповеди он слышал и раньше. Стараниями драгоценной тещи, маленькой старушки, одновременно и вредной, и набожной, Дронов переслушал в машине немало кассет. Великим постом, опять же по просьбе тещи, ходил он воскресными вечерами в храм слушать о страданиях Иисуса Христа. Но проповеди ему не нравились. Не нравился тон,

торжественный и крикливый. Не нравились слова вроде «возлюбленные о Господе» или «дорогие мои». Павел Петрович дожил уже до тех лет, когда слова о любви больше раздражают, чем согревают. То, что люди живут по привычке и без радости, то, что никто никого особо не любит, а батюшки исключением не являются, Петрович понимал давно и давно с этим смирился.

Но в этот раз слова священника Дронова зацепили. Священник был незнакомый, видно, пришел в гости на праздник. Видом — не святой: ростом выше среднего, крупный. Помоложе Петровича, но и не «деточка» («деточками» называла теща Петровича тех щуплых и безбородых молодых батюшек, которых так часто можно увидеть в наших строящихся или реставрируемых храмах).

Священник начал говорить о Петре и Павле, но быстро сменил тему и продолжил уже о Христе. О том, что Христос жив и что Он вовеки Тот же. О том, что Он ближе к нам, чем воздух, которым мы дышим, и одежда, которую мы носим. При слове об одежде Павел Петрович повел плечами, почувствовал, как прилипла к спине намокшая от пота рубашка, но вместо духоты ощутил на лице прохладное дуновение, почти дыхание.

Священник продолжал о том, что Христос послужил нам, отдал всего Себя даже до излития крови, и мы теперь тоже должны послужить Ему.

— Но где я найду Тебя, Господи? — громко произнес проповедник и остановился.

Храм замер и затаив дыхание ждал ответа.

— Ты рядом, — громко продолжал проповедник. — Ты — в каждом ближнем моем. Если Ты в больнице, я могу укрыть Тебя одеялом и посидеть ночь у Твоего

изголовья. Если Ты раздет, я могу отдать Тебе свой пиджак или свитер. Я могу защищать и лечить, кормить и утешать Тебя, потому что все сделанное мною ближним Ты отнесешь лично к Себе.

Павел Петрович слушал внимательно. Его голова была пуста, потому что ум, кажется, покинул ее и переместился сантиметров на тридцать ниже. Остановившись где-то в области груди, ум вместе с сердцем впитывал слова священника так, как сухая земля впитывает воду. Проповедь закончилась тем, что батюшка назвал блаженными всех медсестер, милиционеров, пожарных, поваров — всех тех, кто постоянно учит, лечит, кормит и спасает людей, а значит, ежедневно служат Христу так, как они могут служить.

Заканчивал священник уже не так связно и горячо. Один за другим заплакали на руках мамаш несколько младенцев. Народ опять заерзал и зашептался. Священник сказал «аминь» и как-то боком, неловко вернулся в алтарь. Вскоре отодвинули завесу и началось причащение. А Петрович вышел в образовавшийся проход и, перекрестившись на храм, пошел домой. Он не знал, да и не мог знать, что был единственным человеком, проникшимся словами проповеди. Все остальные прихожане к вечеру забудут то, что слышали утром, и будут спать спокойно.

В тот праздничный день евангельский невод, брошенный незнакомым батюшкой в храме Петра и Павла, вытащил из глубины на берег только одну рыбу. Этой рыбой был отпраздновавший пятидесятилетие Павел Петрович Дронов, таксист с тридцатилетним стажем, человек, не отличавшийся сентиментальностью.

* * *

Вторая ночь раздумий уже близилась к рассвету. «Не хирург, не офицер, не учитель», — думал про себя

Петрович, перебирая в голове список профессий, основанных на человеколюбии.

— Я — таксист! — вдруг громко сказал, почти крикнул Дронов и сел на кровать, тихо добавив: — Мать твою...

От звука его голоса проснулась жена и, не открывая глаз, сонно затараторила:

— А? Что? Паша, что случилось?

— Ничего, спи.

Дронов пошел на кухню за сигаретами, закурил и вышел на балкон (курить в квартире категорически запрещала теща). Фонари уже погасли. Воздух становился серым, и первые машины уже то и дело пролетали мимо сонных девятиэтажек, шурша шинами и явно наслаждаясь пустотой дороги. Дронов глубоко затягивался и медленно повторял одну фразу:

— Я вожу Христа... я вожу Христа...

Смысловое ударение он делал на втором слове: не лечу, не защищаю, а именно вожу. Он начал представлять себе лица реальных и возможных пассажиров: спешащих на вокзал, не успевающих на работу, целующихся на заднем сиденье... Всех тех, кто от привычки к комфорту или от страха опоздать стоит на тротуаре и, вытянув правую руку, с надеждой смотрит на приближающуюся машину Дронова. Они часто сжимают кулак, а большой палец отставляют так, будто стоят не на тротуаре, а на трибуне амфитеатра и дарят жизнь раненому гладиатору.

Дронов не любил пассажиров. Последнее время он заметил, что люди стали более наглыми и вместе с тем жадными. Он докурил и щелчком отбросил окурок далеко от балкона.

— Я вожу Христа, — еще раз, как мантру, твердо произнес Петрович и ощутил смысл произнесенной

фразы. Теперь акцент падал на последнее слово, на имя. Тысячи людей, которых он до сих пор возил, по сути являлись одним Человеком. Только Дронов этого не знал, не думал об этом, а значит, прошлое не считается. Все эти лица способны составить огромный коллаж, играли роль завесы, перегородки. Они отвлекали своим многообразием и прятали того Одного Пассажира, с помощью Которого все можно было собрать воедино и осмыслить. Собственно, Сам Христос играл с Дроновым в прятки. Он ежедневно клал Петровичу в багажник чемоданы и авоськи, торговался за сдачу, просил поторопиться, называл неправильные адреса и терпеливо ждал того момента, когда Петрович наконец поймет, Кого же он возит.

* * *

Петрович понял. Он понял, что теперь нельзя возить иностранцев кругами по всему городу, чтоб содрать с них в пять раз больше денег. Нельзя задерживаться на вызове, проезжать мимо бедно одетых людей, заламывать непомерные цены. Нужно делать все правильно, потому что это касается непосредственно Бога. При таком отношении к работе, образно говоря, Дронов мог бы за тридцать лет обеспечить место в раю не только себе, но и своей «старушке» — двадцать первой «Волге», на которой намотал не одну сотню тысяч километров. Мог бы... Ему пятьдесят. В таком возрасте менять жизнь — дело нелегкое.

— И надо оно мне было — переться тогда в церковь? — спросил себя Петрович и пошел в ванную.

Спать уже было поздно, и он решил принять душ. Но горячей воды не было. Смысл жизни, недавно uznанный Дроновым, работником котельни все еще был неизвестен. Им пока невдомек, что горячая вода

в трубах и батареях нужна для того, чтобы Христу было тепло и комфортно. Поэтому аварии случались регулярно и при многочасовых перекурах котельни не ремонтировались неделями. Петрович умылся, пошел на кухню и поставил чайник на огонь. За окном уже рассвело. День обещал быть ясным. Этот, казалось, обычный рабочий день в своей многолетней шоферской биографии Петровичу предстояло впервые провести по-новому.

* * *

Самая простая мысль — возить людей бесплатно — оказалась невыполнимой. Во-первых, боясь подвоха, люди отказывались ехать даром. Они устраивали с Петровичем борцовские схватки, пытаясь засунуть ему деньги в карман, или просто выходя оставляли их на сиденье. Догонять пассажиров или объяснять им мотивы своего поведения было глупо. Даже супруге Петрович не рассказал о своих внутренних переменах. Он знал: громкие декларации о начале новой жизни заканчиваются поражением в тот же день. Сколько раз он, к примеру, докуривал свою «последнюю» сигарету, обещая бросить курить, но вечером того же дня или через день покупал очередную пачку. Нет, заявлять ни о чем не надо. Кстати, у жены возник бы резонный вопрос: как он будет содержать семью? Дети, конечно, взрослые и живут отдельно, но ведь и они с Татьяной не ангелы: им есть надо. О том, что набожная теща в сердцах может проклясть его за такую странную перемену, Дронов в глубине души догадывался и думать об этом не хотел.

* * *

Был полдень первого дня новой жизни. Пять или шесть клиентов своим поведением уже внесли коррективы в планы Петровича. Он припарковал «старушку»

возле станции метрополитена и вышел, чтобы выпить где-то чашку кофе.

В большом городе трудно найти маленькое кафе. Петровича приютил салон игровых автоматов. Внутри был бар, и там варили кофе. Было накурено, дым висел слоями, как отрезки легкой белой материи, поднятые ветром. Автоматы мигали и звенели, а возле них, уставившись оловянными глазами в вертящиеся барабаны, сидели люди. Люди проигрывали зарплаты, пили пиво и мечтали обогатиться. Петрович подумал, что эти лудоманы* в другое время могут быть его пассажирами, а значит, и они — те, отношение к кому оправдывает или осудит его на Страшном Суде. «Все, что сделали им, Мне сделали». Оговорок в законе не было.

Допив кофе, Дронов вышел на улицу. На светофоре собралась большая пробка. Какой-то старенький «форд» заглох посреди дороги. «Баба», — с сердцем сказал про себя Петрович. Как любой нормальный мужик, женщин за рулем он, мягко говоря, недолюбливал. Подойдя ближе, он увидел, что капот открыт и в нем, согнувшись, копошится молодой человек. Объезжая его, водилы высовывались в окна и говорили разные вещи из числа тех, что в кино перекрываются плачущим звуком. Парень не высовывал голову из капота, и было ясно, что он не ремонтирует машину, а, имитируя ремонт, прячется от водительского гнева.

Петрович ясно понял, что должен помочь. Но вместе с этим ясным пониманием он ощутил, что помогать совсем не хочет. Изменение жизненных ценностей с комфортом и удовольствием, оказывается, было никак не связано. Петрович вдруг вспомнил одного коллегу-таксиста, который стал ходить к адвентистам.

* *Лудомания — болезненная зависимость от азартных игр.*

«От винтисты» — шутя называл их про себя Дронов. Этот коллега однажды часа два впаривал ему, Петровичу, одну простую мысль: с тех пор как он уверовал, все проблемы ушли прочь. Курить бросил, матом не ругаюсь, жене верен. А главное — полный душевный комфорт. Петрович и тогда делил услышанное на два. Уж больно жаден был мужик и с приходом в адвентизм от жадности, по-видимому, никак не исцелился. Сейчас же он вспомнил коллегу из-за контраста: у того вера рождала комфорт, а у Дронова — проблемы. Может, они в разных Иисусов поверили?

Короче, Петрович был обязан помочь и вовсе не хотел этого делать.

* * *

— Чего там? — спросил Дронов у водителя «форда» таким тоном, будто сам был хозяином машины.

— Не знаю, — ответил парень. — Может, свечи, а может, еще что...

— Трос есть?

— Есть.

Водитель «форда» засуетился, достал из багажника трос и с благодарно сияющими глазами сказал:

— Мне только до моста. Дотянете? Сколько?

Павел Петрович не ответил. Он молча пошел к «старушке», завел двигатель и с трудом стал выкручивать туда, откуда можно было взять «форд» на буксир. Минут через десять они уже ехали: счастливый водитель «форда» и насупленный Павел Петрович. Когда подъехали к месту, парень стал рассыпаться в благодарностях и совать Дронову в руки мятые денежные купюры. Сопротивляться не хотелось. Петрович деньги взял и, сопровождаемый фразами типа «дай вам Бог здоровья», «вы мне так помогли», повел «старушку» куда глаза глядят.

* * *

Дронов ехал медленно и думал. А думать было над чем. Во-первых, опыт угождения Христу оказался опытом насилия над собой. Об этом Петрович никогда не думал и нигде не читал. Учитывая то, что жизнь продолжается, перспектива вырисовывалась интересная. Это что же, так всю жизнь и напрягаться?

Во-вторых, когда Петрович цеплял трос и с болью в сердце тащил «форд», слушая, как напрягается и рычит его старенькая «Волга», о Христе он не думал. Пацан, стоявший на перекрестке, в это время у Дронова с Иисусом не ассоциировался. Можно было спросить себя: «Чего ради я вообще взялся помогать?» Но вместе с тем было ясно: не будь той проповеди и тех двух ночей с размышлениями — дули с маком он бы стал помогать первому попавшемуся сопляку.

И, наконец, в-третьих. Была радость, вот только теперь начавшая согревать Петровичу сердце. Радость наполняла грудь теплом и даже мешала ехать. Обычно, когда Дронов радовался, он жал на газ и во все горло пел: «Вот кто-то с горочки спустился». А эта радость как-то не совпадала ни с лихой ездой, ни с популярной песней. Петрович взял вправо, остановился, выключил мотор. Он прислушался к себе и улыбнулся. Если бы кто-то в эти минуты присмотрелся к нему, пятидесятилетнему мужику, могущему согнуть в пальцах гвоздь-сотку, то этот кто-то подумал бы, что Петрович через наушники слушает какую-то очень важную и долгожданную новость. И оттого глаза его ничего не видят, хоть и широко раскрыты, а на лице — блаженная улыбка.

* * *

Эх, город, город. Ты взметнулся в небо домами и строительными кранами, но совсем не знаешь об

ином Небе, на котором об одном покаявшемся грешнике все Ангелы радуются. Ты подгреб к себе миллионы людей и смотришь на их суету, как на растревоженный муравейник. Но ты никогда не заметишь в этой толкотне одного остановившегося муравья, ошеломленного чувством вечности. Впрочем, какой с тебя спрос? Ведь и сами снующие муравьи этого, остановившегося, не замечают.

* * *

Петрович вышел из машины и осмотрелся. Он тормознул недалеко от маршрутной остановки. Рядом копошился продуктовый рынок, и на остановке стояло немало людей с сумками, полными только что купленной еды. Видно, маршрутки долго не было. Внимание Дронова привлекла одна старуха. Одежда на ней была теплая не по сезону, ее сумка была почти пуста, а сама она стояла согнувшись и опираясь на палку. Глаз не было видно. Их скрывали солнцезащитные очки, но было понятно: если их снять — на вас бы взглянули глаза человека, не знающего, зачем он живет, и уставшего от этой мысли.

* * *

Ольга Семеновна — так звали женщину — действительно не знала, зачем она живет. Всего неделю назад она похоронила единственного сына. Костя был трезв и переходил дорогу в положенном месте. А вот джип не только ехал на красный, но и, сбив человека, не остановился.

Невестка после развода жила отдельно и единственную внучку к Ольге Семеновне не пускала. Женщина стояла в ожидании автобуса, но в то же время ехать в пустую квартиру не хотела. Машина, остановившаяся под носом, звуком своих тормозов заставила Ольгу Семеновну вздрогнуть.

— Садись, мать, подвезу.

Народ на остановке оживился. Молодые женщины и девушки, видя подъехавшую «Волгу», были готовы к любой ситуации, но только не к этой. Некоторые из них подумали, что шофер шутит, подтрунивает над бабкой, а на самом деле «кадрит» кого-то из молодых. Одна или две даже заулыбались и одновременно с вызовом и ожиданием уставились на Петровича.

Надо отметить, что Дронов и в свои пятьдесят был красив той мужеской красотой, которая женщинами не созерцается, а чувствуется на расстоянии. Он мог не рассыпаться в комплиментах, быть немногословным и спокойным. Женщины все равно замечали его и к нему тянулись. Но это были дела прошедшие. А сейчас Петрович спрашивал не верящую своим ушам старую женщину, где она живет, и предлагал подвезти.

* * *

Ольга Семеновна читала в газетах и слышала по телевизору о разных маньяках и убийцах, со старушками на лавочке песочила наставшие злодейские времена на чем свет стоит, но Дронову она сказала адрес и с большим трудом, кряхтя и охая, залезла в машину. Машина тронулась, оставив позади одних людей улыбающимися, других — пожимающими плечами. По дороге старушка медленно рассказывала свою беду, а Петрович по-шоферски прикидывал, как долго салон его «Волги» будет хранить смешанный запах лекарств, мочи и нафталина.

Когда приехали, Павел Петрович помог женщине выйти и зачем-то сунул ей в руку двадцать долларов («заначка» в правах на всякий случай). Потом, стыдясь собственной доброты и немного жалея об отданных деньгах, сел в машину, сдал назад и лихо выехал из двора. На этот раз ни тепла, ни радости не было. Была

жалость к старому человеку, брезгливость от запаха, оставленного этим человеком, и еще сложная смесь из разных чувств, в которых Петрович решил не разбираться. Он уже начал понимать, что попал в такую Страну чудес, где далеко не все поддается пониманию.

* * *

Зато радость была у Ольги Семеновны. Рассудок говорил ей, что это сон, но двадцать долларов в кармане рассудку противоречили. И еще было тепло в груди и хотелось плакать. Хотелось поблагодарить, поцеловать руку, поклониться. И даже не шоферу (его старушка толком и не разглядела), а кому-то другому.

В тот вечер Ольга Семеновна не включила телевизор и не стала смотреть сериал. Она зажгла возле фотографии сына свечу и долго молча сидела на кухне. Ей было спокойно. Уже совсем поздно, часов в одиннадцать, позвонила невестка и сказала, что завтра приведет Катю – внучку.



Бенедикт Клебер
«Еврей с Морай»

У Бога нет мертвых



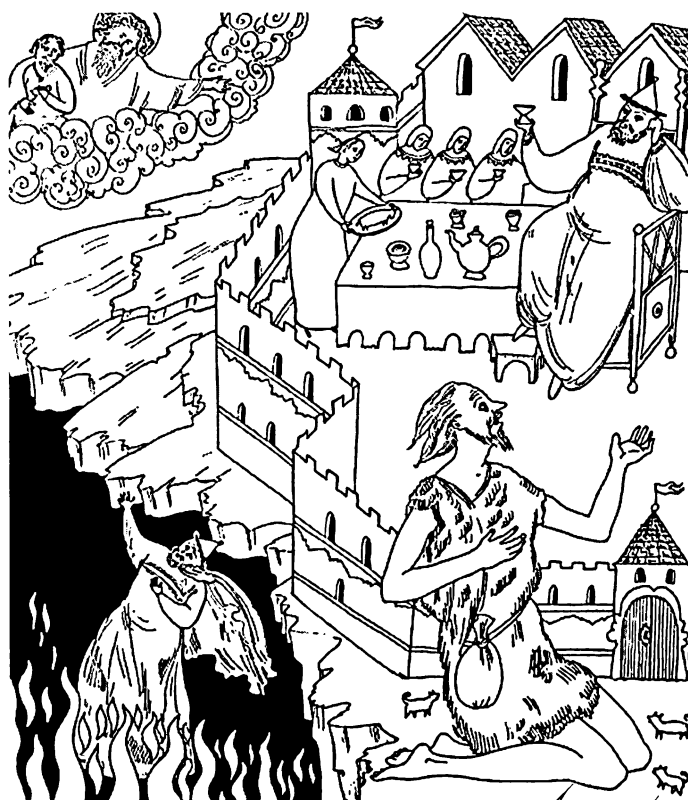
Мудрость народная предупреждает не зарекаться от суммы и тюрьмы. Кто знает, как жизнь сложится завтра. Кто знает, с кем столкнешься лоб в лоб, глубоко задумавшись и повернув за угол. Я тоже знать не знал, что целых три месяца мне придется прятаться в чужом и незнакомом городе, а чтобы чем-то жить, работать грузчиком в овощном магазине и там же спать, получая еще полставки сторожа. От кого и в каком городе я прятался, сегодня уже неважно. Важна одна черта моей тамошней жизни, о которой и расскажу.

Через два квартала от нашего магазина располагалось старое городское кладбище. На нем по недостатку места уже давно никого не хоронили. Сквозь могильные плиты проросли деревья, все кладбище утопало в зелени, и я ходил туда гулять в вечерние часы между закрытием магазина и наступлением темноты. Может быть, не в каждом городе мира найдется гражданин с фамилией Рабинович, но зато на большинстве кладбищ в нашей стране найдется еврейское поле. Шумный, неугомонный, упертый,

пахнущий библейской древностью, красивый и отталкивающий одновременно, самый странный народ на земле разбрелся повсюду и везде оставил следы своего присутствия.

Та кладбищенская часть, где были похоронены евреи, находилась на самом краю, и туда я ходил чаще. Сначала меня привлекли надписи на могилах и портреты умерших. Там были похоронены евреи, служившие в Красной Армии. Те, которые поверили в революцию, повывлазили на свет из всех щелей российской провинции и стали под красное знамя. Кого-то из них убили на войне, кто-то до чего-то дослужился. На их могилах надписи были сделаны по-русски, а на фотографиях они были запечатлены в гимнастерках и портупелях. Эти мне нравились меньше всего. Больше нравились старики со странными, иногда смешными для нашего уха именами. Нравились их грустные глаза и длинные бороды. Нравилось, что жены их лежат рядом, и чувствовалось, что при жизни они были нежны какой-то другой нежностью, которая редка среди славян. Там, где надписи были сделаны на иврите, к простому любопытству добавлялся священный интерес, и я подолгу ходил среди могил Корфункеров и Зильберманов, Коганов и Кацев. Как-то не было скучно и было о чем думать, хотя нельзя было предположить, что я додумаюсь до чего-то особенного. Однако додумался.

В каптерке, где я ночевал, было Евангелие. Я открывал его временами на любом месте и читал. Читал, не все понимая, но с удовольствием. Когда чувствовал, что сыт и удовольствие закончилось, — закрывал. И вот однажды поразил меня рассказ о богаче и Лазаре.



Притча о богаче и Лазаре

Вы не смейтесь над тем, что сторож овощного магазина гуляет на кладбище и читает Евангелие. И Боже вас сохрани думать, что это неправда. Ведь я же не всегда был сторожем и сейчас им не являюсь. Тогда я скрывался, и было от кого. Значит, и дела у меня бывали поважнее, а образование и статус им соответствовали.

Так вот, в рассказе про Лазаря и богача тронула меня одна мысль, а именно: богач в аду переживает о братьях, оставшихся на земле. По опыту мне

было известно, что когда в жизни человека наступает такой кошмар, который мы преждевременно называем адом, то можно перестать думать обо всех, даже о самых близких. Тогда только воешь от душевной боли или дрожишь за свою шкуру. Богач, оказывается, был по-своему хорош. Он, даже попав в потустороннее пламя, сохранил в душе тревогу о родственниках. Трогательна была и просьба о том, чтоб Лазарь намочил перст в воде и прохладил ему язык. Удивило и то, что они за гробом друг друга узнали и что там могут быть длинные разговоры между святыми и грешными, между Авраамом и его потомками. На этих мыслях я и уснул в тот вечер, скрутившись в калачик, как я люблю, на вонючем одеяле синего цвета.

На следующий вечер я опять бродил среди христианских и еврейских могил, пробирался среди ржавых и колючих оград, раздвигал руками заросли папоротника и думал о своем. Мысль о том, что евреи, лежащие вот здесь, где я сейчас хожу, похожи на евангельского богача, а может быть, кто-то из них похож и на Лазаря, пришла ко мне тихо и незаметно. Как бы сама собой. Я даже не остановился, продолжил прогуливаться, но эта мысль вдруг раскрасила евангельский рассказ и даже посягнула на большее. Сильно верующим меня всегда было назвать трудно хотя бы потому, что в жизни этого не видно. Но наученный еще в институте Достоевским, я считал и считаю, что истина — Христос, а если истина не Он, то лучше я буду с Христом, но без истины. То, что евреи в Иисуса Христа не поверили, казалось мне жуткой ошибкой и огромной трагедией. При этом никакой неприязни к этому народу у меня никогда не было.

И вот тут я подумал: ведь там, за гробом, все всех узнали. Увидели люди и Моисея, и Авраама. Увидели и Иисуса Христа и только там поняли свою ошибку. Это ж наверно они теперь просят, чтобы омочил кто-то перст и прохладил им язык. Наверно жалуется, что их неправильно научили или они сами не хотели думать о важном и вот так расплескали жизнь по горстям, кто куда, а теперь мучаются... Мучаются, но о родственниках думать не перестают. Нас они, может, и терпеть не могут, но уж своих-то любить умеют. У нас дети поголовно то «тупицы», то «болваны», а у них «Ося всегда хороший мальчик». Так, по крайней мере, я тогда думал и решил следующее: пока жизнь моя непонятна, буду ходить сюда и читать мертвым евреям Евангелие.

С тех пор прошло уже достаточно лет, но я и сегодня удивляюсь тогдашней затее. Сегодня бы я этого не сделал: или побоялся бы, или бы сам себя постыдился. Хотя сегодня я знаю, что решил тогда правильно. Я много потом общался со священниками и читал разные книги. У Бога нет мертвых. Внимание души приковано к месту, где лежит тело, ведь там человек воскреснет. Чтение Евангелия — один из высоких видов молитвы. И несомненно, покойные переживают о живых и хотят, чтобы те не повторяли их ошибки.

На работе все было тихо и незаметно, а вот вокруг начало твориться разное всякое. Стало коротить проводку. В магазин повадились местные жулики-малолетки, и ночи перестали быть спокойными. Вдобавок у меня сильно разболелся желудок, и я перестал есть. Зато из дома сообщали, что дела решаются и скоро можно будет вернуться. Те, кто искал меня, сами стали скрываться. Мысль о доме согревала.

На кладбище я продолжал ходить и читал там преимущественно Евангелие от Иоанна. Там много таких мест, где Господь обращался к обступавшим его и теснившим иудеям. Он иногда ругал их, иногда учил, иногда грозил и обличал, но они так ничего толком и не понимали. Головы их были напичканы какими-то своими мыслями. А вот черно-белые лица с надгробий смотрели так, будто понимали все, что я читал, и это меня одновременно и пугало, и радовало. Читал я вслух, но негромко. Находил удобное место, прочитывал главу, затем просил у покойников прощения за то, что потревожил, и отходил шагов на двадцать, на другое место.

Так продолжалось недели две. Я уже привык к ним, к тем, кого звали Шломо и Хацкель, к тем, на чьих могилах были написаны слова о скорби родных и выгравирован семисвечник. И тут пришла новость о конце моих скитаний. Можно было пересчитать карманную мелочь и, даже не возвращаясь в каптерку, бежать на вокзал, чтобы электричками добираться домой. Так я и сделал. Напоследок пришел на кладбище, но уже ничего не читал (Евангелие было собственностью сторожки). Просто посидел под деревьями, но уже на христианской части. Было приятно смотреть на кресты, и было жалко, что они не стоят в той части кладбища...

* * *

Я забыл бы эту историю, как забыл сотни историй своей и чужих жизней. Но я вспомнил о ней, когда среди моих друзей все чаще стали появляться евреи. Они не решали со мной гешефты, не делали шахермахер и не готовили гефильте-фиш. Они вообще не делали со мной ничего еврейского, но появлялись ниоткуда, говорили со мной о Боге, о Христе, о Суде

и потом уходили. Некоторые стали моими друзьями, многие крестились, иных я даже не помню по имени, но за несколько лет их было много.

И вот тут в мои тяжелые мозги пришло ясное понимание того, что глаза с надгробий смотрели на меня с пониманием не зря.

Евреи все же умеют любить своих и переживать о них даже из ада.



Урок



День обещал быть жарким. Солнце уже поднялось над черепичными и жестяными крышами, но замешкалось и на пару минут увязло в листве деревьев. Деревья не были выше крыш. Просто молодой человек, смотревший на солнце, сидел на лавочке и снизу вверх жмурясь подставлял лицо пучкам тонких и беспокойных лучей. Звали молодого человека Константин, он был студентом первого курса факультета классической филологии, не окончившим второй семестр и ушедшим в академку. Было ему от роду лет двадцать.

Константин родился и вырос вдалеке от того старого города, на одной из лавочек которого он сидел и над которым сейчас поднималось июньское солнце. Молодой человек опустил голову и остановил взгляд на пляске, которую устроили на асфальте у его ног солнечные зайчики.

А дорожка цветочная от листвы разузорена,
Словно лапы паучные, словно мех ягуаровый...

Он пробормотал про себя отрывок из Северянина, а затем вслух добавил: «Надо было на русскую филологию поступать». Ему действительно лучше было бы пойти на русскую филологию. Классическая была выбрана не по сердцу, а от головы. Пылкий юноша («философ в восемнадцать лет» — сказал бы Пушкин) справедливо думал, что латынь будет ключом к будущему изучению мировой истории и культуры. Но одно дело читать в оригинале Тита Ливия, а другое — двигаться к этой цели, заучивая новые слова, склоняя и спрягая и, что главное, видеть, как конечная цель в силу сложности не приближается, а удаляется. Тот, кто не ошибся в выборе, в этом случае напрягает силы. Ну а тот, кто ошибся, опускает руки. Костя опустил руки и переключил внимание.

* * *

Переключаться было на что. Город, из которого он приехал, был сер и однообразен. Над ним редко летали птицы, может быть, потому, что с высоты птичьего полета взору нечем было залюбоваться. Внизу угрюмо жили простые и хорошие люди, которые многого не знали и о лишнем не любили думать. Для них жизнь была не праздником, а тяжелым путем, который нужно пройти, разгребая препятствия. Константин уехал отсюда, когда окончил школу. Уехал без радости, наоборот — с комом в горле. Он любил и родителей, и друзей, и вообще все, что пахло детством и отрочеством. Но в родном городе не было университета, а в ближайших городах не было классической филологии, и восемнадцатилетнему отличнику, влюбленному в поэзию Серебряного века, пришлось собираться в далекий путь.

* * *

Новый город оказался целым откровением. Он был упрям, как женщина, и не хотел подстраиваться под



Урок

современность. Его мощные бульжником мостовые тосковали по цоканью копыт и грохоту карет. Их тоске вторила тихая грусть многовековых зданий. Если улицы с трудом терпели шуршание резиновых шин, то дома, как великаны, съевшие что-то неудобоваримое, страдали от поселившихся в них наших современников. Евроремонтам, обновившим внутренности квартир, дома снаружи мстили осыпающейся штукатуркой и трещинами в стенах. Дома помнили, как по их деревянным лестницам со скрипом, медленно поднимались местные шейлоки, чтобы, закрывшись на засов, всю ночь звенеть монетами в зловещих бликах сального огарка. Из их подворотен согнувшись, чтобы не удариться о низкий косяк, хоть сейчас мог выйти, закутавшись в плащ, кто-нибудь похожий на Казанову. Но вместо всего этого в городе жили обычные люди, разогревающие завтраки в микроволновках, уверенные в своей величии, не замечающие красоты и ничего толком не знающие.

* * *

Константин полюбил этот город и почувствовал его затаенную тоску. Не раз и не два, пропуская пары, он бродил по узким улицам и с чувством сострадания вглядывался в каменные глаза кариатид, поддерживающих балконы, сатиров, криво ухмыляющихся всем проходящим мимо. Не раз и не два он с замиранием сердца входил в незнакомый дворик и застывал перед увиденным. Это мог быть помеченный голубями барельеф Архангела Михаила со злым сатаной под ногами. А могли быть натянутые через весь двор веревки с висящими на них, подобно морским флагам, простынями и довоенными подштанниками. Это мог быть просто квадрат голубого неба, образованный сомкнутыми крышами, а Константин как будто со дна колодца смотрел на медленно проплывавшие вверху облака. Он мог стоять порою по пять и более минут, забывая про университет, вслушиваясь в биение сердца этого старого, но не желающего умирать города.

Тяжелый, низкий бас колокола на кафедральном соборе часто заставлял его вздрогнуть, и он, очнувшись, выходил со двора на улицу с чувством, что живет в веке восемнадцатом. Яркая реклама на ближайшем ресторанчике тогда удивляла его не меньше, чем часы «Ролекс» на руке перуанского индейца. Он глубоко вдыхал и, засунув руки в карманы, шел дальше. Шел медленным шагом безнадежно влюбленного человека.

* * *

Учиться в таком режиме было невозможно. Появились первые долги по зачетам, потом — проваленная сессия. Наконец — академка и вольные хлеба. Домой Константин об этом не сообщил. Решил не тревожить родителей. Из общежития его пока не гнали, книги

в библиотеке давали по-прежнему. Нужно было устроиться на работу, чтобы не тянуть из родительского дома копейки, и расслабиться, отдавшись на волю теплых волн океана жизни.

В этом возрасте человек безрассуден, а жизнь к нему ласкова, и это (как сказал Бродский) — «щедрость волны океана к щепке».

* * *

Костя устроился на посудомойку в одном из маленьких кафе, которых в городе было больше, чем в лесу деревьев. Люди здесь бродили из одного кафе в другое, выкуривали десятки сигарет, тушили бычки о недоеденные пирожные, и было непонятно: работают ли они где-либо, а если нет — на какие деньги живут.

Подсобка его кафе выходила во двор, куда также выходили двери склада продуктового магазина. Не раз Константин помогал грузчикам носить ящики с консервами или колбасой. Это было нетрудно. Даже наоборот — приятно. Молодое тело скучало по мускульной усталости. Разгрузив товар, работяги наливали себе и ему по «сотке» и закусывали только что разгруженной колбасой. Сам себе в это время Костя казался пассажиром с «Титаника». Пассажиром, который вечером разносит публике шампанское на верхней палубе, а день проводит в машинном отделении с кочегарами.

«Чем живут эти люди?» — думал он, вглядываясь в серые лица мужиков, вслушиваясь в их однообразные матерные разговоры.

«Чем живут эти люди?» — повторял он вопрос уже в кафе, глядя на мужиков с руками без мозолей и женщин с длинными ногтями.

Свою жизнь он продолжал ощущать как учебу, только более качественную, практическую.

* * *

Большинство людей учится, читая книги. Но есть и другие пути. Антоний Великий спрашивал у философов: «Что раньше: ум или книги?» «Ум, — отвечали те, — ведь книги — из ума». «Значит, — говорил Великий, — очистившему ум книги не нужны». Этот второй способ — очищение ума — редок и тяжел. Говорить о нем может лишь имеющий опыт. Константину открылся третий путь — общение с людьми. «Каждый человек, — однажды подумал он, — живет жизнью драматической и таинственной. Будь бы она увековечена пером Шекспира, то быть бы ей известной и читаемой вовеки. Люди — это непрочитанные книги. Это — покрытые пылью инструменты, которые зазвучат, лишь стоит их коснуться умелыми пальцами.

Эта мысль озарила его однажды под вечер, когда раковина была полна блюдец, а средство для мытья посуды закончилось. Он даже присвистнул от радости. Это же цель!

Завести разговор, познакомиться неважно где — в поезде, в баре, на пляже. Аккуратно, как кончики пальцев в волшебное озеро, окунуть душу в чужую жизнь. Без бумаги, напрямую узнавать от людей самое важное, если, конечно, они, люди, согласятся пустить тебя не только в прихожую, но и в спальню, и в кладовую своего душевного дома.

Вникать в слова чужого языка,
Угадывать великое в немногом...

Он пробормотал про себя строчки из Брюсова и открыл кран горячей воды.

«Нет, все-таки можно было поступить на русскую филологию», — добавил он вслух.

* * *

Легче всего было начать со своих сверстников-студентов. Но у этих еще не было душевного дома со спальней и кладовой, с драгоценностями в сейфе и «скелетом в шкафу» (как сказали бы англичане). У них была пока лишь душевная общага, и чтобы найти в ней высший смысл, достаточно было всего лишь поговорить с комендантом.

«Говорить нужно со стариками, — думал Костя, — с теми, кто стоит на грани и уже чувствует вечность». Он уже потихоньку почитывал Библию. Читал бессистемно, с любого места, и понимал мало. Но некоторые вещи прочеркивались в его сознании как резцом по алмазу. Так запомнились, запали в душу слова кого-то: «Мы — вчерашние. Пойди спроси у древних».

«Пойду, спрошу», — подумал Костя. Спрошу у тех, чье сердце было не раз изодрано изменами, потерями и расставаниями. У тех, чей хребет от времени согнулся. Спрошу у тех, кто в этом мире все уже видел и уж не ждет новостей.

Константин хотел спросить о том, как и для чего жить. Это необходимо узнать, чтобы не делать лишних движений, не тратить время даром. И он начал спрашивать.

* * *

Первый опыт его шокировал. Люди, от которых уже, казалось, пахло землей, которые уже одной ногой шагнули за грань, ни о вечности, ни о смысле жизни не думали и говорить не любили. Они даже обижались и нервничали, будто подозревая собеседника в желании поторопить их смерть. Самый первый из них, к которому Костя обратился, на вопрос, что ему больше всего запомнилось из прожитого, стал долго рассказывать о пиве, которое варили в тридцатых, о товарище



по имени, кажется, Юзек, который обыгрывал всех на бильярде, и о всякой подобной всячине. Разговор проходил на той самой лавочке, на которой мы познакомились с Константином. В двух шагах от этого места было кафе, где он работал.

Старик не удивился любознательности подсевшего к нему молодого человека. Он стал рассказывать о своей молодости, положив руки на палочку и упершись в них подбородком. Картины прошлого воскресали перед его выцветшими глазами, и видно было, что он любил себя тогдашнего и не хотел возвращаться мыслями назад, в действительность.

А Косте хотелось плюнуть и уйти, хотелось матернуться или даже заплакать от обиды. Глупые старики, ничего не могущие сказать молодежи, были для него так же бессмысленны и гадки, как дети-развратники.

С тех пор он обжигался часто, постепенно прощаясь с самою мыслью завести умный разговор

с незнакомым собеседником. Но на лавочку перед работой приходил регулярно. Он садился удобно, по-молодежному, почти ложился, запрокинув голову и раскинув руки. Читал по памяти отрывки любимых стихов и наблюдал за солнцем. Когда оно выпутывалось из древесной листвы и в упор, без помех светило Косте в лицо, становилось ясно, что тяжелый шар земной совершил нужный поворот вокруг своей оси. На часах было десять и пора на посудомойку.

* * *

— Подвиньтесь, пожалуйста.

Константин сел прямо и обернулся на голос. На него смотрела молодая женщина возрастом чуть старше него. В руках у нее было вязанье, а рядом стояла девочка лет пяти.

— Пожалуйста, — Константин убрал руку (в вольной позе он занимал пол-лавки). Если по уму, то нужно было бы вставать и идти на работу — кафе уже открылось. Но почему-то хотелось остаться.

— Это ваша дочка?

— Да. — Женщина ответила, не отрываясь от вязанья, а девочка (прехорошенькая) стояла возле матери и внимательно изучала соседа по лавочке.

— А сколько ей лет?

— Скоро будет пять.

Поняв, что речь идет о ней, малышка прижалась к матери, но глаз от дяди не оторвала.

— Я люблю детей, — сказал Константин, чувствуя, что пауза затягивается. — У меня их будет много.

— Ну, много!.. — Женщина улыбнулась. — Сначала жену найдите.

— Я... ищу.

— Разве? А я думала, загораете.

*Игорь Северянин*

- Я память тренирую, – немного обиженно и по-детски буркнул Костя.
- Это как?
- Стихи наизусть читаю.
- И кого же?
- Северянина, например.
- А...

Женщина вдруг оторвалась от вязания и продекламировала:

Он интересен тем, что он совсем не то,
Что думает о нем толпа пустая,
Его стихов принципиально не читая,
Когда в них нет про ананасы и ландо...

- Вы знаете Северянина?!

— Знаю... Женщина опустила голову к вязанью, а девочка внимательно и тревожно посмотрела на мать.

— Вы что-то окончили? — спросил Костя. Он вдруг почувствовал к этой женщине огромный интерес, в основном как студент, но чуть-чуть и как мужчина.

— Я училась, но не окончила, — ответила собеседница. — Замуж вышла. Вот мой диплом (она поцеловала дочку в лобик), а вот — моя кандидатская (показала на вязанье).

Тут Константин заметил, что животик у нее округлый, и если бы имел опыт, то понял бы, что месяц уже шестой, а то и седьмой.

Какая-то странная ревность к неизвестному мужу кольнула его в сердце. Константин вдруг почувствовал себя маленьким и несерьезным.

— А вы знаете, — прервала молчание женщина, — я и сейчас учусь. Вот мы с Полей, — услышав свое имя, малышка посмотрела на мать и улыбнулась, — смотрели недавно библейские гравюры какого-то немца.

— Шнорра?

— Кажется, нет.

— Карольсфельда?

— Вот. Его самого. И представляете? Поля меня спрашивает: «А почему у Адама и Евы — пупочек?» Я не понимаю вопроса. У всех, мол, пупочки. А она мне: «Нет. Их мама не рожала. Адам — из земли. Ева — из ребра. А пупочек — это от пуповинки». Представляете?!

Сильный крик оборвал их разговор.

— Ты долго будешь отдыхать, паразит? Уже пол-одиннадцатого!

Орал шеф-повар Костиного кафе. Константин вскочил, рванулся было бежать. Но потом остановился.

— Сейчас. Иду, — крикнул он шефу. — Извините, мне пора. Я должен идти.

— Идите-идите. Работа — это святое, — улыбнулась женщина и опустила глаза к вязанью.

— Вы мне очень помогли, — сказал Костя и побежал. Метров через десять он обернулся и крикнул: — Вас мне Бог послал!

Женщина улыбнулась в ответ.

То, к чему он сейчас прикоснулся, еще требовалось осмыслить, осознать. Но однозначно это был чудесный урок. По сути подарок.

Уже в дверях кафе он обернулся. Женщина вязала, а Поля прыгала вокруг лавки на одной ножке.

Константин улыбнулся и переступил порог.

* * *

Я знал Константина. В тот старинный город, где он жил не доучившись, я приехал в командировку. Что-то затянулось и не заладилось, пришлось остаться до понедельника, и в воскресенье нужно было где-то помолиться. Православный храм в городе был один. Я нашел его минут за десять до всенощной и залюбовался молодым человеком, сидящим у свечного ящика. Он продавал свечи, писал имена в записки для службы, бойко выдавал сдачу и успевал каждому сказать одно или два нужных слова. Кому — об исповеди, кому — о поминании усопших, кому — о чтении Евангелия.

После всенощной я еще раз подошел к нему и разговорился. Константин — а это был он, — хотя и выглядел уставшим, охотно поддержал разговор. Мы сидели у храма на скамейке и до темноты говорили о литургии, о святых отцах, о прожитой жизни. В тот вечер он и рассказал мне кратко историю своих поисков и своего обращения. Когда стало совсем поздно, он предложил мне заночевать в церковном доме.

— У нас возле просфорни есть комната для гостей. А в просфорне работаю я и с субботы на воскресенье в ней ночую.

Я с радостью согласился.

— Увидимся завтра на литургии, — сказал Константин и пожелал мне спокойной ночи.

На следующий день мы увиделись, но так и не поговорили. На службе было много людей. Константин уже не сидел за свечным ящиком, а прислуживал в алтаре, выходил со свечой на входе и читал Апостол. Когда служба закончилась и, поцеловав крест, люди стали выходить из церкви, я увидел его. Он стоял на церковном дворе напротив пономарки и разговаривал с молодой женщиной. Лево́й рукой женщина легко покачивала коляску, в которой спал симпатичный богатырского вида мальчуган, а правой обнимала девочку лет шести. Они разговаривали о чем-то важном, и я не хотел им мешать.

С тех пор мы не виделись. Дела мои решились, и я уехал из старинного города, который, честно говоря, мне не очень понравился. Уже в поезде, отправляясь домой, я захотел записать историю молодого человека, что я и поспешил сделать. Конечно, что-то забылось, а что-то ускользнуло от внимания, но в целом история его мне показалась интересной, и не хотелось предать ее забвению. С тех пор прошло лет пятнадцать. И вот недавно, разгребая бумаги, я нашел свою рукопись. Она истрепалась и пожелтела, а первое предложение — «День обещал быть жарким» — было написано как будто куриной лапой: в это время поезд тронулся, и ручку сильно повело по бумаге.

Я вспомнил об этом и улыбнулся.



Архиерей и режиссер



Имя продолжает греметь, когда владельца имени уже еле слышно. Так доктора могут пригласить для консультации в монаршую спальню, и он зайдет туда на цыпочках, но вместо грозного повелителя может увидеть заострившееся от предсмертной болезни испуганное лицо, чуть высунувшееся из-под одеяла.

Точно так позвали священника к режиссеру, которого тяжкий недуг уложил в постель. Позвали, чтобы причастить больного, хотя даже глоток воды тому уже давался с болью. Стены были густо увешаны фотографиями той поры, когда нынешний больной повелевал армией операторов, сценаристов, гримеров и артистов; когда он выжимал из них необходимые соки, а из соков этих готовил интеллектуальный коктейль — зрелище, зафиксированное пленкой. Там, на фотографиях, он был энергичен, уверен в себе, целеустремлен. Там он вызывал уважение и скрытую зависть. А здесь, под одеялом, он был мал, сух, измучен. Здесь он вызывал только сострадание и желание вспомнить строчку из Екклесиаста.

Уже потом, задним числом, священник срифмовал эту встречу с чеховским «Архиереем». Там ведь тоже болезнь не брала в учет социальный статус и расхожие представления о величии. Взяла да и свалила в постель викарного владыку. Тот «очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться». И здесь было нечто подобное.

Притом архиерей и режиссер, как ни крути, похожи. Оба влияют на сознание масс, оба занимают совершенно разные, но ответственные и руководящие должности. Оба — генералы мирных времен. Пока каждый из них в фаворе, с ними трудно говорить по душам. Хотя бы потому, что до них просто трудно добраться. И лишь когда случится нечто, переводящее их из элиты в строй рядовых, можно и посидеть рядом, и подержать их за руку, и поговорить о чем-нибудь нейтральном.

* * *

Священника позвали причащать больного, а значит, и исповедовать его. Может быть, впервые в жизни, а может, спустя многие-многие годы от последней исповеди. И все это в ситуации, когда человек и говорит уже с трудом, еле слышно. Пытать допросом человека о содеянных грехах в это время просто бесчеловечно. А что делать?

Простая мысль пришла на ум батюшке.

— Я вам почитаю Евангелие. Хорошо?

Больной закрыл глаза и вновь открыл, что, по всей вероятности, заменяло утвердительный кивок головой. Библию не пришлось долго искать, хозяйка была

религиозна. И они стали читать. Вернее, священник стал читать, не громко, но внятно и не спеша, сидя вполоборота к больному и на него не глядя. Читал из Иоанна, начиная с восемнадцатой главы, от взятия Иисуса под стражу.

Эти строки, сколько их ни читай, всегда читаются впервые. И про то, как Иисус сказал «это Я», а воины упали в страхе; и про то, как Петр, перепуганный и разгоряченный недавней схваткой, поспешно отрекался от Учителя. Если читаешь с умом и не спеша, то часто почти проникаешь в ту густую и тревожную, неповторимую атмосферу, в которой Иисуса водили и к Пилату, и к первосвященнику, и к Ироду, и выводили к народу, все время спрашивая что-то, добиваясь чего-то. А ведь все уже было решено и песок в невидимых часах убегал, приближая развязку.

Священник читал и боялся думать о том, слушает ли больной. Священнику и самому было сладко читать драгоценные строки, но в этот раз он читал их не для себя. Что, если больной уснул, что, если он устал от всего и хочет, чтобы его оставили в покое? Вот и дыхания его не слышно. Но чтение продолжалось.

Вершился людской суд над Богом. Звучали странные слова: Лифостротон, Гаввафа. Голгофа, нешвенный хитон. Иисус с Креста усыновлял Иоанна Матери, и просил пить, получая в ответ на просьбу уксус, и, преклонив главу, предавал дух. А воины с поспешностью ломали кости разбойникам и били копьем в ребра уже умершего Мессию. Сверху их кропила кровь и вода. Затем Никодим с Иосифом, преодолев страх, вошли к Пилату и просили тело. Затем было погребение.

Две главы читались минут десять. За это время на глаза священнику раз или два наворачивались слезы,

но он откашливался и продолжал читать без эмоций. Когда дошли до утра нового дня, то прочли только про Магдалину. И так все было ясно. Все опять было ясно — Он воскрес. «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».

На этих словах священник сказал «аминь», поцеловал лист и закрыл книгу. Потом он не спеша, но с опаской повернулся и посмотрел на больного. Тот был внимательно собран, лежал с открытыми глазами, и в глазах стояли слезы. Несколько слезинок стекла на подушку и оставили на наволочке маленькое пятно. Одна слеза стекла было по щеке, но задержалась в седой щетине. Не меня положения тела, больной стал что-то шептать. Священник приблизил ухо к его устам и услышал очень тихое и очень слабое: «Спасибо вам».

* * *

Причастие было на следующий день. А вскоре после причастия было и отпевание.

Еще одна душа переступила грозную границу между мирами и начала свое собственное и неповторимое загробное существование. Свой прах, измученный и истощенный болезнью, душа оставила на малое время родным для оплакивания, а потом этот прах вернут праху до дня всеобщего воскресения. Во все это за свою жизнь священник вовлечен так часто, что большого набора альтернатив у него нет. Протоптаны лишь два пути: очерстветь окончательно или стать святым.

Человек же, не желающий черстветь, но и к святости не чувствующий решительного позыва, должен чем-то утешаться в своем зависшем состоянии. Лучше, если книгами.

Существование книг есть одно из доказательств человеческого бессмертия, а возможность найти себя или свою жизненную ситуацию на страницах чужого труда и вовсе сродни волшебству. В тот день, когда священник преподал больному причастие и ушел, как хорошо было бы, чтобы больной чувствовал себя так же, как чеховский архиерей. И тот и другой были большими и значимыми. Но потом вдруг стали маленькими и беспомощными. Но когда уже все смотрели на них, утирая глаза и разговаривая шепотом, они внутри себя обрели новый простор и иную свободу.

У Чехова так и сказано: «Он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!»



У меня умер друг



Ты спрашиваешь, почему я грущу? А когда ты видел меня веселым?

Понимаешь, у меня умер друг. Я и не думал, что он мне так дорог. А вот позвонил ему, а детский голос отвечает: «Папа умер». Я где стоял, там и сел и заплакал. Валера умер! Не могу представить его без движным. Не могу представить гранитный памятник с его фотографией, на которой он улыбается.

Он был доктор. И в этом тоже есть какая-то доля издевательства. Он был хороший доктор, грамотный, внимательный, серьезный. Но доктора тоже умирают, а священники тоже грешат. Разве это не ужас? А ты все спрашиваешь, отчего я грущу.

Гепатит залез в его печень давно. Он рассказывал мне, что в болезнях много мистики. Вирусы ведут себя не просто как живые, а как живые и умные. Они приспособливаются к лекарствам, изменяются, затаиваются. Они могут делать вид, что уже умерли, что побеждены, и человек успокаивается, начинает беспечно радоваться, нарушать режим... Потом болезнь вспыхивает вновь, но на этот раз очаги поражения



глубже и опаснее, а старые лекарства уже не действуют. У Валеры был именно такой случай.

После первой опасной вспышки, когда специалисты говорили о двух-трех оставшихся годах, он прожил еще десять лет. В этот период мы и познакомились.

На его месте можно было по-христиански вымаливать у Бога или, как делают многие, по-язычески ждать от безликого Космоса подачки в виде продления срока. Можно было истратить все деньги на новые лекарства. А можно, сколько Бог пошлет, жить полной и красивой жизнью, радуясь каждому дню и тем более каждому прожитому году. Они с женой сумели заново влюбиться друг в друга и были так взаимно нежны и внимательны, что многие, быть может, им завидовали.

Валера на пару лет поехал в Ливан, в миротворческий контингент. Заработанных денег, плюс

сбережения, хватило, чтобы улучшить жилищные условия. Слишком долго они с женой и двумя детьми мыкались по коммуналкам и съемным квартирам. Когда мы освящали эту новую квартиру, Валера сказал: «Ну вот, за это уже сердце не болит». Последние несколько лет он часто повторял эту или подобную фразу: «Уже сердце спокойно», «Об этом я не переживаю». Он говорил так, когда старший сын стал работать и к тому же познакомился с хорошей девочкой. Когда жена научилась водить машину. Когда удалось реорганизовать терапевтическую службу в округе. Время шло и постепенно его убивало. Печень уже не могла хорошо очищать кровь. Но, запрограммированная на честное исполнение своей работы, она и пропускать ее не очищенную не могла. Началась внутренняя интоксикация. Он мог бы вести дневник и, как доктор, фиксировать постепенное угасание своего организма. Но он стремился реализовать себя, воплотить мечты, обеспечить семью. И он продолжал быть собранным и серьезным на работе, веселым среди друзей.

Ты спрашиваешь, почему я улыбаюсь? Знал бы ты, как он умирал. Это была оптимистическая трагедия. Когда его на пешеходном переходе внезапно сбила машина и все разрушительные процессы в организме резко усилились, Валера и его жена поняли, что он вышел на финишную прямую. Они стали готовиться к расставанию с мужеством самурая, делающего с утра прическу и готового к вечеру умереть. За сорок семь дней от аварии до смерти они прожили вместе еще одну жизнь.

В больнице, где его знали все и он знал каждую трещинку на стенах, отбоя не было от посетителей. Целый театр лиц прошел перед их глазами: робких, искренних, испуганных, участливых. Он говорил со



всеми, даже консультировал больных и давал советы коллегам. Только жену все время держал за руки и сучал по ней, даже когда она отлучалась на полчаса за минералкой или лекарством.

В тот самый важный день, который еще называют последним, к нему в очередной раз пришел священник. Валера недавно причащался, а сейчас уже был без памяти. Поэтому его соборовали. Все, что он сказал в тот день, — это фраза, обращенная утром к зареванной медсестре, менявшей капельницу. «Вы очень красивы сегодня», — сказал он ей. Потом он ничего не говорил и казался глубоко уснувшим. Но священник, совершавший соборование, обладал зычным басом. Совершив Таинство, он громко произнес отпуст и этим, кажется, пробудил больного. Валера узнал священника. «Батюшка, благословите». — «Бог благословит». — Священник широко перекрестил

Валеру и положил ладонь ему на голову. Валера слабо, но очень тепло улыбнулся и закрыл глаза.

Священник снял облачение, сложил его в чемоданчик и успел дойти до двери, когда Валерина душа покинула вначале тело, затем больничную палату, а затем и вообще эту печальную землю.

* * *

Я вспоминаю о Валере, думаю о его смерти и радуюсь. Но эта радость не мешает мне ронять слезу, когда я представлю себе гранитный могильный памятник с фотографией, на которой Валера улыбается. Ты спрашиваешь, как это может быть? Как могут ужиться вместе и улыбка, и слезы? А по-моему, только та радость и есть настоящая, которая не мешает плакать. И только те слезы правильны, сквозь которые можно улыбнуться.



Не каждый может быть садовником



— Вы помните моего сына. Вы не можете его не помнить. Боже, что это был за мальчик!

Она позвонила мне по телефону час назад и просила разрешения прийти на разговор. И вот теперь она сидит передо мной и рассказывает о своих проблемах. Я пытаюсь схватить суть беседы и ввести ее слова в некое русло, но рассказчица то и дело отвлекается на попутные мелочи, из-за чего ее повествование угрожает превращением в нечто бессмысленное и бесконечное.

— Боже, что это был за мальчик! Ресницы в детстве, как у Мальвины, глаза голубые, а голос!.. У него был чудесный голос, что вам говорить. Семен Яковлевич его хвалил и обещал ему большое будущее. Вы помните Семена Яковлевича? Это — светило. Он бы был вторым Шаляпиным или Магомаевым, но Бог ему дал плохую жену. Вы знаете, жена делает мужчину успешным или несчастным. Вы должны это знать. К вам многие обращаются за советом. Семен Яковлевич был бы вторым Магомаевым, но со своей женой он стал только учителем пения. Она была из поволжских немцев, лютеранка, знаете. Чистюля такая, но

ревнивая до ужаса. Она не пускала Семена Яковлевича ни на гастроли, ни на концерты. Короче, — на слове «короче» она шумно вздыхает и поднимает глаза на секунду к небу, — короче он стал просто учителем сольфеджио в музыкальной школе.

— Простите, вы что-то хотели рассказать о вашем сыне.

— Я хотела сказать, что моему Славику прочили большое будущее. Он мог бы стать вторым Робертино Лоретти или этим... как его? Я забыла. В общем, не сложилось. Потом он попал к другому учителю, потом целую зиму болел. Потом ломка голоса.

— Ваш сын разве музыкант?

— Нет, что вы! Он инженер-радиотехник. Политехнический был не для него. Он у меня нежный мальчик с художественным вкусом, а там цифры, цифры, чертежи, вся эта сухая наука. Многие начинают пить от несоответствия призвания и практического занятия. Славик не пил, Боже сохрани. Да я бы и не позволила. Он много раз хотел бросить учебу, но я настояла, чтобы он получил диплом.

— Простите, с вашим сыном что-то случилось?

Она вздрагивает всем телом и испуганно смотрит на меня, словно я только что достал пистолет и навел его на нее.

— Нет, слава Богу! Славик жив и здоров, что вы? Что вы? Господь с вами.

Она дважды крестится мелким крестом и поправляет косынку на голове. А я разглядываю ее со страхом и любопытством. Страх рожден тем, что слова речи этой пожилой женщины похожи на медленное вытягивание жил, а тема визита все еще не ясна, и сколько продлится ее рассказ и мое выслушивание — неизвестно. Ее зовут Нина Ивановна. Она живет в этом

доме с самого первого дня его заселения. Она живет, кажется, вдвоем с сыном, и мы изредка встречаемся во дворе и обмениваемся приветственными улыбками, поскольку ей известно, что я — священник. Я не могу знать ее сына, потому что живу в этом доме всего лишь лет пять. Да и если бы я жил в нем с самого дня рождения, это не гарантировало бы наше знакомство, поскольку большой многоквартирный дом, это — несколько сел, поднятых в воздух, застывших в квадратно-гнездовом виде современных квартир. При нынешней занятости, спешке и заикленности на себе люди рискуют не знать по имени даже многолетних соседей через стенку, а не то что всех жителей соседнего подъезда. «Вы помните моего сына?» — смешной вопрос.

Мысли долго записываются, но мчатся, как молния. И вот она поправила косынку и осенилась крестом, а я с любопытным страхом взглянул на нее.

— Славик жив и здоров, что вы!

— Так в чем, собственно, дело?

— Понимаете, он собирал марки. Это же азарт, правда? Хотя, с другой стороны, это — невинное занятие, и я ему позволила, хотя уже несколько раз в этом исповедовалась.

— В чем? В том, что позволили собирать марки?

— Дело не в марках. Он через эти марки, будь они неладны, подружился с Игорем Андреевичем.

— ?

— Он из соседнего дома, того, что стоит окнами к дороге. Когда наш район застраивался, то их дом построили первым, а потом сразу — наш. Между ними пустырь образовался. Тут такие страсти были, вы не представляете. Нашли убитого мужчину. В котловане нового дома, который собирались строить. Потом

люди узнали, что там был труп, не хотели заселяться в построенный дом. Послушайте. А может, все это из-за того, что там был труп? Ведь не шутка же! Кровь пролита, человек убит!

Мне становится дурно. Что «все это»?! Она битый час ходит вокруг да около какой-то известной ей, но неизвестной мне проблемы и ждет от меня в конце совета, но я до сих пор ничего не понимаю в том, что, собственно, она мне пытается изложить. Человеку на моем месте есть отчего почувствовать себя дурно. Именно дурно, а не плохо, или погано, или как-нибудь еще, как становится современникам. Мне становится так дурно, как становилось дурно людям при старом режиме, когда матом ругались в случаях исключительных, и то далеко не все. «Дурно», – написал бы Чехов или Шолом-Алейхем в подобной ситуации. Впрочем, почему «написал бы»? У Чехова есть рассказ, в котором дама-графоманка приносит писателю свою писанину, долго и с выражением ее зачитывает, после чего писатель в состоянии аффекта убивает гостью, не выдержав пытки чтением.

– Простите, а что – Игорь Андреевич? – Я со стороны вижу себя в этот момент, вижу, как глупо выгляжу, и слышу, как глупо звучит мой вопрос.

– О, это отдельная тема. Интеллигентный человек, которого бросила жена. Женщины часто бросают хороших мужчин и уходят к мерзавцам. Правда, мой муж оставил порядочную женщину, то есть меня, и ушел к потаскухе, но это тоже бывает. Мы все не без греха, и мужчины, и женщины. Так вот, живет он холостяком, пьет, в доме не убрано. Живет с дочерью. То ли мать не захотела брать ее с собой, то ли сама девочка не захотела... Одним словом, живут вдвоем, отец и дочь. Она, знаете, такая, как сегодняшние дети.



Им все подавай, а они не знают, откуда что берется. Но красивая. Это — да. Ничего не скажешь. Мужчины на улице оборачиваются.

Я начинаю кашлять. Затем — смотреть на ручные часы. Затем — на часы настенные. Я начинаю ерзать на диване и снова кашлять. Куда там! Нина Ивановна поглощена темой. Она взяла меня в плен. Я сижу перед ней в собственном доме, как раб, держащий на руках мотки пряжи, а она убаюкивающим голосом рассказывает мне бесконечную чушь и наматывает, наматывает пряжу на клубок. Клубок увеличивается, но моток на моих руках уменьшаться, кажется, не намерен.

— Игорь Андреевич любил марки.

— Кто, простите?

— Игорь Андреевич.

— Марки?

— Да, марки. Он любил марки. Альбомы составлял, переписывался с филателистами, когда был трезв. На этой теме они со Славиком и подружились. У него не было сына, а каждому мужчине, что бы кто ни говорил,

хочется сына. А мой Славик! Боже, глаза голубые, голос ангельский, и ребенок не уличный, культурный. Разговор может поддержать не хуже взрослого. В общем, тот души в Славике не чаял.

Я смотрю на гостью одуревшим взглядом и вижу за правым плечом у нее прожитое ею прошлое. У каждого человека размытые очертания прошлого угадываются за плечом. Угадываются страхи, восторги, обиды, неудачи, мечты сбывшиеся и не оцененные по достоинству, мечты несбывшиеся и превратившиеся в рану. Все это зыбко колышется за спиной каждого человека, за одним из его плеч. А за другим плечом робко проявляется, как негатив на фотопленке, приближающееся будущее. Туда, за спину человека, смотреть страшно, потому что нет никого несчастнее на земле, чем тот человек, который видит прошлое и прозревает будущее. Или я схожу с ума? Может быть, я сплю с открытыми глазами? Всё может быть. И разве можно, скажите мне, сохранить последние крохи душевного здоровья, когда по твоей душе ежедневно топчутся табуны и ездят тракторы, когда из тебя пьют, вылизывают и высасывают кровь самые разные люди, сохраняя в душе наидобрейшие намерения?

«Священнику свойственно быть съеденному людьми». Кто это сказал? Мориак. Где я это прочел? У Шмемана. Упокой, Господи, душу протопресвитера Александра Шмемана. Упокой, Господи, душу писателя Мориака. Помилуй, Господи, Славика и его маму. Помилуй, Господи, Игоря Андреевича с ушедшей женой и оставшейся дочерью. И меня не забудь, Господи.

— Так что там вы говорили про Игоря Андреевича?

— Мой Славик ходил к нему с этими марками. Ходил-ходил и доходился.



— Что случилось?! — Я не на шутку начинаю тревожиться о Славике, об этом неизвестном мне человеке с ангельским голосом и голубыми глазами.

— Он женился на дочери Игоря Андреевича, на этой Зинке.

— Слава Тебе, Господи! — вырывается у меня.

— Какая там слава?! Она не хочет работать. Все время недовольна, что Славик мало зарабатывает. Она меня ни в грош не ставит. Мы каждый день с ней ссоримся. Мы живем в аду, батюшка, вы понимаете?

Мы говорили еще с полчаса. Я уже не кашлял и не смотрел на часы. Мы выясняли сложные вопросы взаимоотношений свекрови и невестки, сына и его жены. Мы вспоминали цитаты из Писания и подкрепляли их житейскими примерами. И это уже не было ни страшно, ни обременительно, потому что предмет

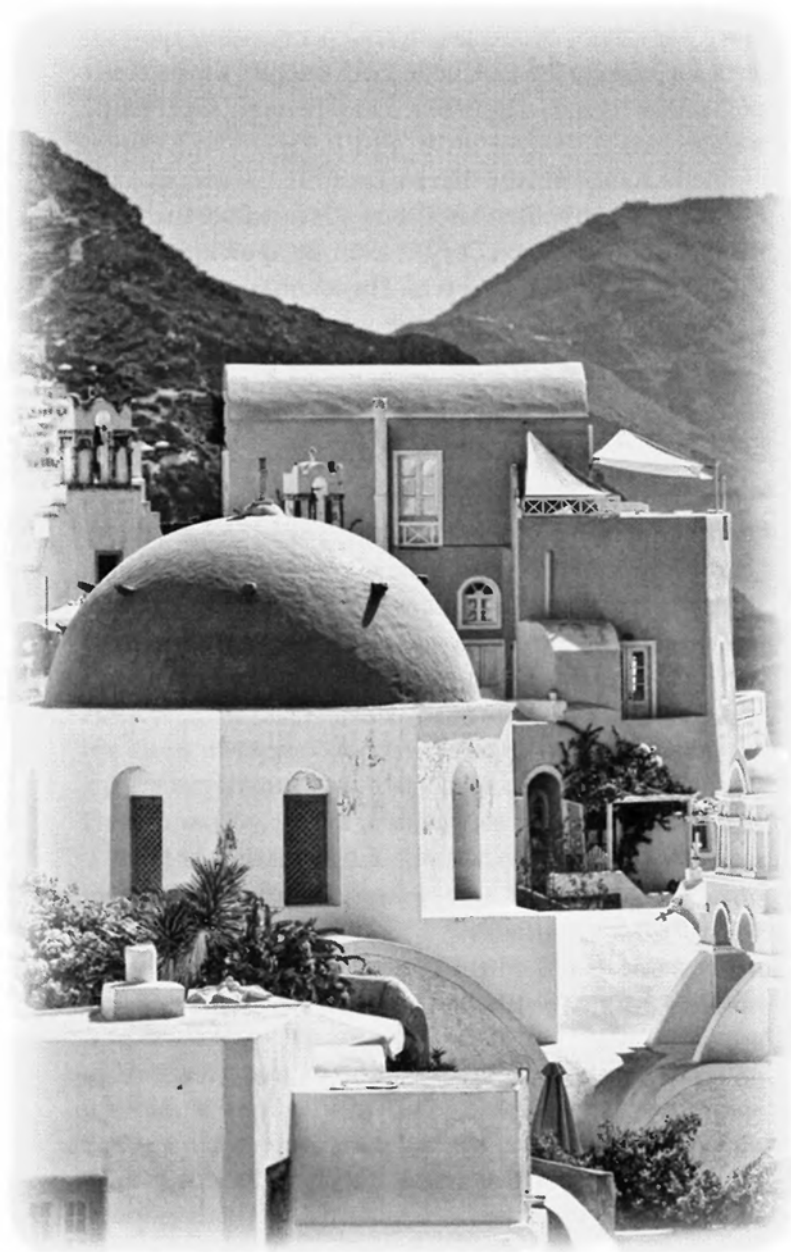
разговора стал ясен. Старая мама, единственный сын, «ужасная» невестка. Постоянно повторяющийся треугольник. И бедная Нина Ивановна, успевшая дважды поисповедоваться в том, что разрешила сыну собирать марки (а через марки он подружился с Игорем Андреевичем, а затем женился на его дочери), вряд ли будет каяться в том, что украла час времени и тележку здоровья у священника, к которому она пришла. Легче покаяться в том, что топил щенков, чем в том, что дал женщине денег на аборт ребенка, зачатого тобой. Легче сказать, что ты ничего не крал, нежели признать себя вором времени своего и чужого.

Она еще много говорила, а я слушал. Она еще спрашивала, а я отвечал. Потом спрашивал я, а она отнекивалась и не хотела отвечать по существу. Я говорил, а она мотала головой и говорила, что я не понимаю, «какая это стерва» и «какой это невинный мальчик». Худо-бедно мы покинули мысленное бездорожье и выехали если не на автобан, то на подобие грунтовки. Пара узелков распуталась, пара вопросов отпала, пара проблем потеряла остроту. Жизнь не стала раем, но кое-что прояснилось и просветлело. Хвала Творцу, Источнику мудрости и подателю терпения.

Потом она ушла, а я остался. Я остался лежать на диване, на котором только что сидел, в комнате, где только что была гостья. Я лежал и думал о том, насколько легче была бы наша жизнь, если бы мы были менее эгоистичны, умели четко формулировать мысли и правильно излагать проблемы. Я вспомнил дикие кусты, растущие как попало, плодящие кислые, а то и ядовитые ягоды, и думал о том, что культурное растение нужно обрезать и направлять его рост. Нужно экономить силы корня и не давать им тратиться на второстепенное и случайное. Это случайное должно

быть обрезано, отсечено, чтобы растение устремлялось вверх подобно пальме, и там, наверху, взрывалось роскошью плодов и листьев, одновременно красивых и полезных.

Не каждый может быть садовником, но каждый обязан обрезать дикие побеги собственных мыслей, чтобы принести плод Богу и не пить даром кровь тех, кто тебя вынужден слушать. Неважно, психолог это или священник, адвокат, сосед или сослуживец.



Греция. Острова



Гладкие большие камни уличной мостовой. Дорога, верблюжьими горбами идущая то вверх, то вниз. Низкорослые, белые, аккуратные здания вдоль улиц. И тишина.

Когда идешь по улице вверх, перед тобой голубое небо. Остановишься наверху отдышаться, обернешься назад — перед тобой вдали открывается море. Такого же цвета, как небо.

Здесь до боли красиво, и все это почему-то бестолку. Местные привыкли. Их взгляд на море и небо безучастный, скользящий. Чтобы оценить по достоинству эту повисшую в воздухе жару, эту цветовую смесь терракотовых крыш, синего моря и белых стен, и треск цикад, и пыльную зелень олив, им надо покинуть родной дом, причем — надолго. Так, чтобы сны о родине потеснили все остальные сны, чтоб тоска тошнотой раз за разом подкатывала к горлу, чтобы пища чужбины была безвкусной. А так... Хоть в рай посади человека, он и там приживется, пообвыкнет. Будет с тоскливым видом высываться из окна, чтоб покурить и поплевать сквозь зубы, будет думать, чем бы заняться или где взять денег.

Красота создана для туристов, то есть для шумных и праздных существ, тратящих специально накопленные деньги на покупку свежих впечатлений. У них горят глаза, они взвинчены и радостны, они фотографируются, шумят на незнакомых языках за столиками в тавернах. Их белая кожа впитывает местное солнце. Они высаживаются из автобусов, как облако саранчи, чтобы, съев глазами, ушами и кожей весь набор запланированных впечатлений, уехать туда, откуда явились, и уступить место следующему десанту. «Я там был», — скажет каждый из них, тыча в нос собеседнику фотографии, поднося сувениры.

* * *

«Я там была». За то, чтобы произнести эти слова, наша героиня заплатила бы много. Очень много. «Была». Сладкое слово. Когда она сможет произнести его, ей тоже покажется раем и это море с выводком рыбацких лодок у берега, и горы, поросшие курчавым лесом, и вертящиеся лопасти ветряной электростанции. Сонное, ленивое царство, где у детей нет рахита, потому что солнца так же много, как воды в море.

Она хотела бы быть туристкой. Она хотела бы улететь домой на первом самолете, чтобы показывать подругам сувениры и говорить: «А вот это дом, где я жила».

Но нет. Не сейчас. Сейчас она идет из супермаркета с сумкой, полной бытовой химии. Хозяйка любит чистоту. Деспина — по-гречески «хозяйка». Деспина Зоя. Подумать только. В космос давно летают ракеты, а на земле у людей до сих пор есть хозяева и хозяйки, как будто мы в Древней Греции, а не в одной из стран Евросоюза. Дичь какая-то.

Так по-русски думала женщина, освещенная греческим солнцем, возвращаясь вверх по улице домой из

супермаркета. Тот отрезок ее жизни, на котором мы с ней встречаемся, давно прошел. Она уже дома, на Родине. Греция осталась лишь в ее снах и на редких фотографиях. Теперь она даже немножко скучает по тихому острову, на котором прожила два долгих года. Но мы смотрим на нее не сейчас, а «тогда». Мы «тогда» переносим в сегодня и видим женщину лет сорока, только что остановившуюся на верху улицы, чтобы отдышаться, и обернувшуюся лицом в сторону моря, такого же синего, как небо.

Ее зовут Маргарита. Так в паспорте. Ритой звала ее мать. Точно так же звали и подруги. Катапульта, которая забросила Маргариту, словно камень, за тридевять земель, называется «долги».

Она не брала денег в долг на раскрутку бизнеса. Она брала деньги в долг, чтобы сына не посадили в тюрьму. Ей, потомственной адвентистке, с детства знающей, что такое грехи и что такое заповеди, было особенно тяжело оттого, что сын ее связался с ровесниками-наркоманами, а она, внучка уважаемого пастора, была вынуждена выкупать его из беды и для этого брать в долг довольно большую сумму.

Так Маргарита оказалась в Греции, вдали от мужа (как он там?), от сына, продолжавшего, по слухам, бесчинствовать, вдали от общины, где за нее молились на каждом собрании.

Вера верой, а беда бедой. Рита плакала, как все; скучала, как все; сто раз порывалась уехать; боялась часто звонить домой, чтоб не рыдать в трубку и не услышать (не дай Бог) дурных вестей. Долг постепенно отрабатывался, хотя и не так быстро. Со временем порывы бросить все и уехать сменялись мыслями остаться подольше и побольше заработать. Она была простым человеком, то есть — тростью, ветром колеблемой.

Для туристов греческие острова были раем, для местных жителей — декорацией, а для Риты ее остров был местом добровольной ссылки, одинаково тоскливой, будь ты хоть в Сибири, хоть в Африке.

Она, конечно, утешалась Библией. И раздражалась на хозяйку. Деспина была стара, как сама Древняя Греция. Она была почти глуха, перемещалась по дому едва-едва и часто просыпалась ночью. Ела она мало и в туалет (слава Богу!) ходила не под себя. Но бывали дни, когда нужно ей было что-нибудь поминутно. То выжми ей сок. То включи, то выключи телевизор, то позвони сыну, чтоб на выходные приехал. И всякий раз, не важно, ночь на дворе или день, глухая хозяйка била палкой в стену и кричала: «Ри-и-та!»

Непрерывной обязанностью служанки было зажигать на ночь лампаду перед иконой Богоматери. Рита было воспротивилась. «Идол! Не буду! Не сотвори себе кумира!» Но для деспины Зои это было очень важно, и русская адвентистка смирилась.

«Я не грешу в душе. Я не изменяю Богу. Я просто... Я просто...» — думала Рита, зажигая лампаду, и не могла подобрать точное имя тому действию, которое совершала каждый вечер.

Она уходила к себе, чтобы успокоиться за чтением Библии, и оставляла старуху сидеть в кресле напротив потемневшего на ночь окна. Деспина могла сидеть часами глядя в одну точку, думая о чем-то. Временами она поднимала глаза к Богородице, крестилась сморщенной, как куриная лапка, рукой и вздыхала тихо: «О Панагия...»

* * *

Греки ничего не знают о нас. Никто ничего о нас не знает. Никто вообще ничего не знает. Это мы читаем обо всех и всем интересуемся. Остальные плевали на

мир, не попадающий в поле прямого обзора. Исключения есть, но их мало.

Кассирша в маркете, с которой Рита подружилась, спрашивала ее поначалу, есть ли у россиян в домах телевизоры, спим ли мы на простынях или на голом полу. Все это жутко возмущало Маргариту, и она лихорадочно перебирала в уме аргументы для доказательства нашего величия.

«Да мы первые в космос полетели! Да у нас дети про вашу Грецию знают больше, чем вы сами! Да у нас Пушкин...» Она никогда не гордилась дома ни Пушкиным, ни Гагариным, ни школьной программой. Было чувство, что Родина велика. Но не было знания — почему, и это тоже раздражало.

Кассирша улыбалась в ответ. Она не понимала ничего — ни причин Ритинога раздражения, ни того, почему такие умные люди пачками уезжают из дома на заработки. Этого, по правде, Рита тоже не понимала.

— У вас Церковь есть? — спросила однажды кассирша у Маргариты.

— Конечно, есть, — отвечала Рита.

Но когда она на своем ломаном греческом языке начала рассказывать о своей общине, о Библии, о дедушке-пасторе, лицо кассирши скривилось в презрительную гримасу.

— Это не Церковь, не Экклесия, — сказала гречанка. — Настоящая Экклесия — вот. — И она показала рукой в сторону покато́й черепичной крыши местного храма и перекрестилась. Рита не стала спорить, хотя ей хотелось крикнуть на весь магазин, что греки — обычные идолопоклонники, что они не знают и не читают Библию и что вообще их местный священник подмигивает незнакомым женщинам. Что настоящая вера иная, иная. Но она сдержалась и, расплатившись,

вышла. Она шла из магазина по улице вверх, и ей хотелось плакать. Плакать от одиночества, от обиды, от усталости.

В местном храме она бывала время от времени. Священник действительно игриво подмигнул ей, когда она, понуждаемая деспинной, пришла, чтобы подать записку с именами на поминальную службу. Это тоже входило в ее обязанности – приносить по воскресеньям из церкви просфору, относить деньги и записки с именами на службу.

Храм был мил. Именно мил, а не красив или величествен. Он был чужой для Маргариты, но все же, думала она, в нем тоже молятся Богу. И еще распятие притягивало ее взор. Это было высокое, большое и очень красиво сделанное, красиво нарисованное распятие. Иисус на нем казался уснувшим. Красивым, уставшим и уснувшим. Он склонил голову на плечо и закрыл глаза. А в ногах и руках Его торчали гвозди, большие гвозди с квадратными шляпками. Однажды Маргарите вдруг захотелось подойти к распятию, чтобы помолиться или даже... поцеловать ноги Иисуса. Но она сдержала себя. Ей нельзя. Так неправильно. Бог есть Дух, и кланяться Ему надо в духе и истине. Бог не в рукотворенных храмах живет.

Она вышла из храма почти бегом, словно уходила от искушения.

* * *

Мы ведь смотрим на нее «тогда». Мы отмотали, как пленку, несколько лет жизни и словно в реальном времени смотрим со стороны на свою соотечественницу, оказавшуюся на заграничном курорте с целями, далекими от отдыха. А что сейчас?

А сейчас Маргарита Павловна сидит за столом и рассказывает мне о том, что было с ней в прошлом,



кажущемся уже таким далеким. Мы дружим с ней. Она — прихожанка храма хорошо знакомого мне священника.

Видели бы вы, какое распятие она подарила в храм этому священнику! Большое, красивое и живое!

Иисус на нем словно уснул. Только что «преклонь главу, предаде дух». А все детали живы. Солнце и луна со страхом смотрят на Господа, как живые. Голова Адама под голгофой то ли скалится от страха, то ли улыбается. И если это улыбка, то от нее становится жутко. Кровь из ран уже не течет, но запеклась и тоже — живая. И ты становишься живым, когда, постояв минут-две у распятия, вдруг опустишься на колени и, коснувшись лбом пола, скажешь шепотом: «Прости меня».

* * *

— В Великом посту мне совсем было плохо. Тоска такая, что хоть вой. Я читала, молилась, но все равно тоска не отступала. Иногда смотрела в книгу и ничего не видела. Читала одно и то же по нескольку раз и не

понимала ни слова. Да и времени нет читать. Работа. То одно, то другое.

Это же как тюрьма. Ни одного нового лица. Те же стены, та же работа, один и тот же пейзаж. Горы, море, тишина. Я думала, что с ума сойду.

Тут деспина посылает меня в храм отнести деньги на службу. А мне так не хочется. Видеть никого не хочется, только бы легла в угол и плакала. Но делать нечего. Иду. Прихожу в храм. Людей среди дня почти нет, и распятие посреди храма. Я дала деньги на службу и уже повернулась уходить. Потом что-то меня задержало. Думаю, посижу в храме немного одна. Не буду спешить. Села на скамью и смотрю на распятие. Потом... Не знаю, что со мной было. Вот не знаю. Меня будто сила какая-то подняла с места и подвела к голгофе. Как я вдруг начала плакать! И молиться! Будто в груди что-то прорвалось, и слезы хлынули рекой. И молюсь Христу! И крещусь! Представляете? Сначала жаловалась Христу на жизнь, что скучаю, что плохо мне. Жалко себя было. Потом стала молиться за сына, за мужа. Потом вдруг почувствовала свои грехи, вспомнила, увидела, сколько их! Мы ведь себя чуть не за святых привыкли считать. А тут у меня будто глаза раскрылись. Я долго тогда в храме была. Не знаю сколько. Пришла домой, бабка моя кричит: «Где ты была?», а я чувствую, что люблю ее. Мне так легко стало. Я такую-ую благодать получила, что не могу и сказать! И потом лампадки зажигала с радостью.

* * *

Она говорит, говорит, говорит. А я пью чай и слушаю, слушаю. Они так любят говорить, эти милейшие бывшие протестанты. У них везде «благодать», «откровение», «свидетельство». А мне вот хочется такое

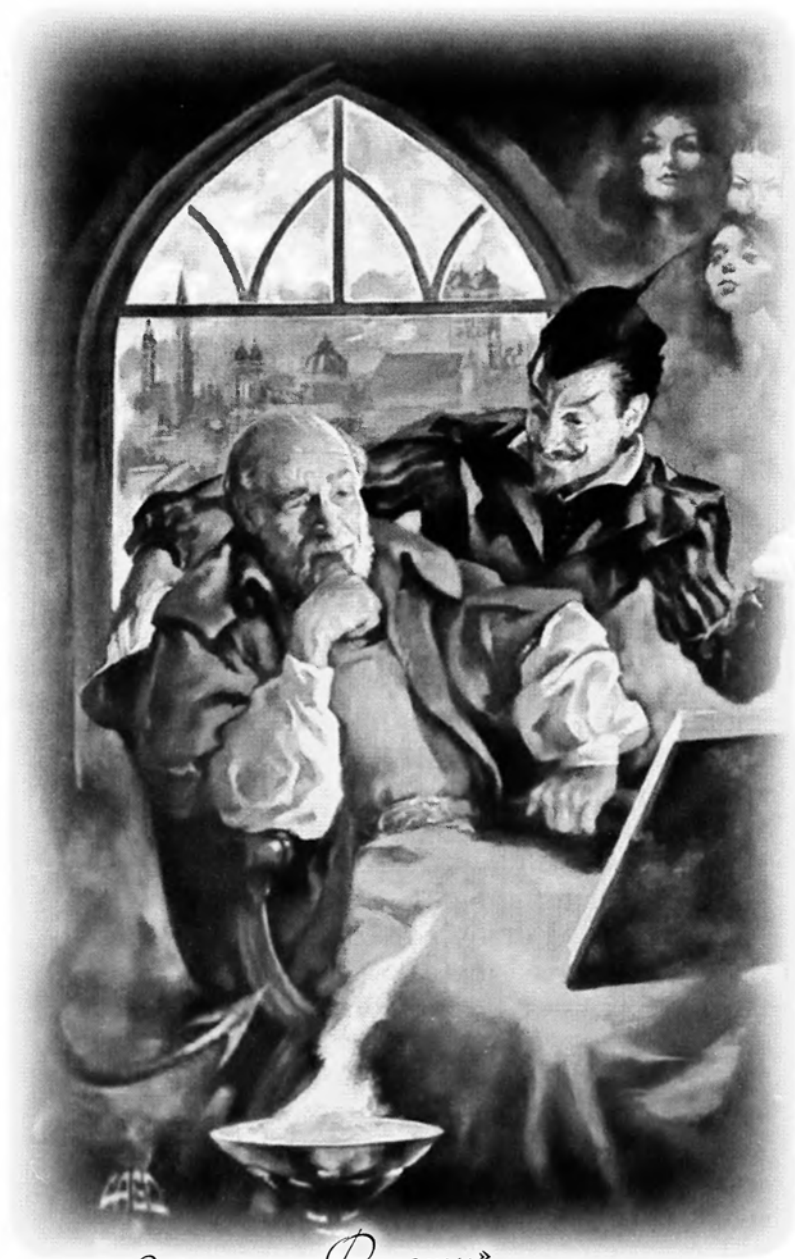
же распятие к себе в храм. Но просить не буду. Стыдно. Да и дорого это.

Уж сколько разных историй, всяких-всяких, слышали мои уши. Не пора ли записывать? Говори, говори, Маргарита Павловна. То, что ты говоришь, действительно и откровение, и благодать, и свидетельство.

* * *

Она поднималась по улице вверх, неся в руках сумку, полную бытовой химии. Деспина Зоя любит чистоту. Мы знаем, что случится с ней через полгода, а она еще ничего не знает. Что ж, оставим ее при блаженном незнании. Ее, Маргариту, внучку уважаемого пастора, приехавшую в Грецию, чтобы заработать денег и отдать долги.

Вот она стоит с печальным лицом, среди треска цикад под синим небом, обернувшись вполоборота, чтобы взглянуть на такое же синее море.



Драма к «Факту»

Ну что же дальше?



Я не лентяй. Я умею и люблю зарабатывать. Ненавижу тех, кто ноет и жалуется. Кто ничего не может, тот ничего не хочет. Таков мой вывод. Я много хочу, но не сижу на месте. Кручусь с утра до вечера, устаю, но мне это нравится. Расширяться, развивать бизнес, пробивать лбом стены, это классно!

Поначалу хочешь только денег. Потом понимаешь, что деньги — не главное. Удовольствие получаешь от движения, от борьбы, от преодоления препятствий, от близкого знакомства с людьми, которые влияют на жизнь.

Потом вдруг устаешь... Не так, как обычно, а внутренне устаешь, и все становится постылым. Но все, что успел сделать, продолжает жить и работать. Имя работает, авторитет работает, команда тянет лямку, и все движется, хотя сам ты устал от всего.

Появляется нечто новое — власть.

Деньги всегда приводят близко к власти малые деньги — к малой власти, средние — к средней, большие — к большой. Ты кому-то платишь, с кем-то

Ну что же дальше?

дружишь, во что-то ввязываешься, и со временем встает вопрос: «Не идти ли самому туда?»

Мысль соблазнительная. Власть пахнет. Не могу объяснить, как и чем, но пахнет, и на этот запах идешь, как голодный пес, высунув язык. Все старое уже надоело, а тут — новые перспективы! И опять кровь играет, накал страстей, адреналин, нервная дрожь... Где-то внутри мысль: «Я достоин. Так должно быть. Это предназначение».

Жена не успевает к тебе подстраиваться. Она остается такой, как была, живет в своем мире. И ты отрываешься от нее. Между вами вырастает сперва разделительная траншея, затем — пропасть. На том этапе, когда появляются большие деньги, жену, как правило, уже меняют. Когда приходишь во власть, жену меняешь снова или живешь для формальности со второй, чтобы не осложнять жизнь, но именно — для формальности. К тому же вторая редко бывает лучше первой. Она моложе, наглее, себе на уме. Расчета в ней больше, чем чувства. Первая жена больших денег или прихода во власть боится, а вторая — нет. Эта радуется, зараза. Не за тебя радуется, а за себя, что она — жена такого-то. Короче, во власти — грязь. Это всем известно. Везде грязь, только во власти ее больше, иначе и быть не может. Новые знакомства, встречи в закрытых клубах, легкий балдеж от мысли, что ты рулишь большими процессами. Узнаешь много нового, хотя еще недавно думал, что тебя уже ничем не удивишь. Потом опять устаешь. Не веришь никому, страх, что подставят, бабы случайные, семья существует только на бумаге, ложь, грязь. И ничто не радует. Становишься со временем холодным циником. Приходит мысль: «А не бросить ли все?» И тут понимаешь, что бросить не так-то просто. С одной

стороны, есть самолюбие, амбиции. С другой — это же поезд. В него сесть легче, чем из него на ходу выйти. Получается — только вперед. Привыкаешь лгать не краснея и продолжаешь движение. Усилие — взял ступеньку. Еще усилие — еще одну одолел. Вверх, вверх. И на каком-то этапе, когда все накатано, вдруг... встреча с этим...

Ничего особенного: вечер, друзья, ресторан. Домой идти не хочется, да никто особо и не ждет. Друзья отошли на минуту, и остался один за столиком. Подходит он, садится.

— Здравствуйте.

— Вы кто?

— Неважно. Потом узнаете. Не пугайтесь. Я давно за вами наблюдаю.

— Кто вы такой?

— Вы обо мне не раз и слышали, и читали, и в кино смотрели. Я — личность известная. Пора поклониться мне. Вы и раньше кланялись, но как-то неосознанно, стихийно. Теперь пора внести ясность.

Тут меня прожгло понимание, кто передо мной, но не сразу понял, что это серьезно. Уж слишком на Голливуд похоже. Мелькнула мысль, что и выглядит он молодежово. А должен же быть древним.

— Не переживайте, — в ответ на мое смущение. — Внешность я могу, как вы догадываетесь, менять до бесконечности.

Я ищу глазами друзей, нервничаю.

— Они в курсе. С ними я уже разговаривал. В свое время.

Он сидит напротив и говорит. Кстати — курит дешевые сигареты одну за одной и дым пускает носом. У меня внутри все похолодело, и мысли тоже застыли. Бывает, что в мозгах — ураган, мысли скачут.



А тут — тишина и холод, как в морозильной камере. Короче, он сказал, куда и когда мне прийти, как одеться, к чему подготовиться. Затем встал, забрал пепельницу с окурками и удалился. Тотчас вслед за ним появились мои друзья. По их серьезным лицам я понял, что они в курсе.

Ну что же дальше? Был где надо, пришел вовремя. Только рассказывать ничего не буду. Это строго запрещено. С тех пор пошел наверх быстрее и увереннее. Оказалось, что вокруг очень много таких, как я, то есть прошедших определенную процедуру... Мы друг друга по выражению лиц узнаем и еще по некоторым знакам. Иногда мы встречаемся отдельно, по семейному, обсуждаем без протокола самые важные дела. Больше ничего рассказать не могу.

Счастливы ли я? Еще бы! Я знаю то, чего почти никто не знает, и влияю почти на все, что вокруг происходит. Иногда, правда, наедине бывает холодно и жутковато. Но это быстро проходит, стоит окунуться в работу. Кстати, в церковь я захожу. Ненадолго. Свечки ставлю везде, где можно. Только перекреститься я не могу и... люди меня сильно раздражают.



Nish

Две истории



До чего же мудр Господь. Прямо-таки хитер в поиске заблудившегося и потерявшегося человека. Приведу тому, как пример, несколько слышанных мною историй.

Дело было во Львове в девяностых годах. Времена смутные. Каждый выживал как мог. В такие годы жулики и проходимцы плодятся, как мухи. И есть среди этого народа особая категория — ряженные под монахов. Где-то они нахватываются церковных словечек вроде «спаси Господи» или «простите меня, грешного», шьют себе рясы и скуфейки и начинают промышлять сбором пожертвований. Не стоят под церквями с протянутой рукой как «христарадники», а ходят по разным организациям, магазинам и обещают помолиться в обмен на крупную сумму. Народ у нас в церковном отношении, известно, дикий. Живых монахов большинство и в глаза не видало. Как услышат фразу типа: «Я архимандрит Феогност. Буду за вас сорок дней молиться Почаевской Божией Матери», — так и достают из карманов трудовую деньгу и спешат писать записки с именами живых и усопших. Мало кто

замечал, что у этих «Феогностов» и лица припухшие, и глазки бегают. И вот одна женщина в магазине так разжалобилась, что отдала такому пройдохе чуть ли не всю зарплату. У нее недавно отец умер, так она не пожалела на помин души. «Только вы, — говорит, — хорошенько помолитесь». «Хорошо, — говорит пройдоха, — помолимся». Рассовал по карманам записки и деньги, и — до свиданья.

А через пару дней взяли эту женщину сомнения. Соседка говорит: «Дура ты, Людка. Никакой он не монах. Зря деньги отдала. Сама лучше ходи в храм молиться».

Та спать перестала. «Поеду, — думает, — найду монастырь Почаевский, найду там этого Феоктиста или Феогноста и заберу деньги». Поехала.

И случилось так, что приехала она в лавру Почаевскую на праздник Почаевской иконы. Народу в монастыре — видимо-невидимо. Автобусы стоят из Литвы, Молдавии, России, Белоруссии. Начала было спрашивать: мол, есть ли у вас такой-то монах. Он мне, дескать, денег должен. Какое там! Найди иголку в стоге сена. Расстроилась она, но раз уж приехала, пошла на службу. Сначала раскаялась. Народу столько, что думала — задуют. Но потом вошла в нее такая светлость и легкость, что неудобства позабылись и уже не вспомнились. Пробежала перед глазами вся жизнь и показалась какой-то мелкой, суетной. Захотелось плакать, причем не о себе, а просто. И она заплакала какими-то особыми, до сих пор не ведомыми, радостными слезами. Так и проплакала всю службу, на которой стояла от начала до конца впервые.

Людское море вынесло ее на воздух. Начался крестный ход. Тут Людмила увидела вблизи монахов и отчетливо поняла, что Феоктист или как его там,

Феогност, — не монах никакой, а жулик. У этих, настоящих монахов все было другое: и руки, и глаза, и бороды. И пели они так, что душа переворачивалась. И чувствовалось, что есть у них в жизни что-то такое, о чем большинство даже не догадывается.

Денег своих она, конечно, уже не искала, да и не жалела о них. То, что ей открылось, оказалось несравнимо дороже того, что у нее выманили. Вот я и думаю — какой же хитрец Господь! Через ряженных проходимцев умеет приводить людей к источникам благодати.

* * *

А вот и вторая история

Дело было на Галичине, в одном из сел в конце семидесятых, еще при Брежневe. Встречался некий юноша с девушкой. Имел самые серьезные намерения. А у нее дядя был священник. Священники тогда на Западной Украине в основном жили как сыр в масле. Был почет, были и деньги. Шутники говорили: «У пана-отца свинья заболела». Девушка, конечно, знала, как духовенство живет, и говорит парню: «Иди в семинарию. Выйду за тебя только если будешь священником». Взбалмошным девкам не впервой парней за чобитками с золотыми подковками посылать, не то что в семинарию. Вот парень и поехал. Взял рекомендацию на приходе и отправился в Санкт-Петербург, по-тогдашнему — Ленинград. Поехал без особых приготовлений, так как галичане уверены, что они люди набожные и о религии знают все. Там и сейчас нетрудно в селах найти людей, которые считают, что русские праздники — это 1-е Мая и 23-е февраля, а украинские — Рождество и Пасха. Парень решил, что раз «Отче наш» знает, раз голос у него есть и в воскресенье на службу он ходит, то ничего

Таличина

больше знать и учить не надо. Да и глядя на окрестное духовенство, какие-то особые знания и таланты заметить было трудно.

В Ленинград он ехал нехотя и с опаской, к москалям все-таки. И там, в городе трех революций, пришлось ему до крайности изумиться. Пришлось впервые в жизни увидеть по-настоящему верующих молодых людей. Там были москальи, русские то есть, были молдаване, украинцы, были юноши, приехавшие из других частей огромной империи, разлегшейся на одной шестой части суши. Они вели между собой непонятные для нашего героя разговоры о литургии, о святых отцах. Они читали Евангелие и еще какие-то незнакомые умные книги. Было видно, что они давно переварили то, что наш друг еще не съел. И еще было видно — никто из них не приехал сюда для каких-то «левых» целей: покорять чье-то сердце, делать карьеру...

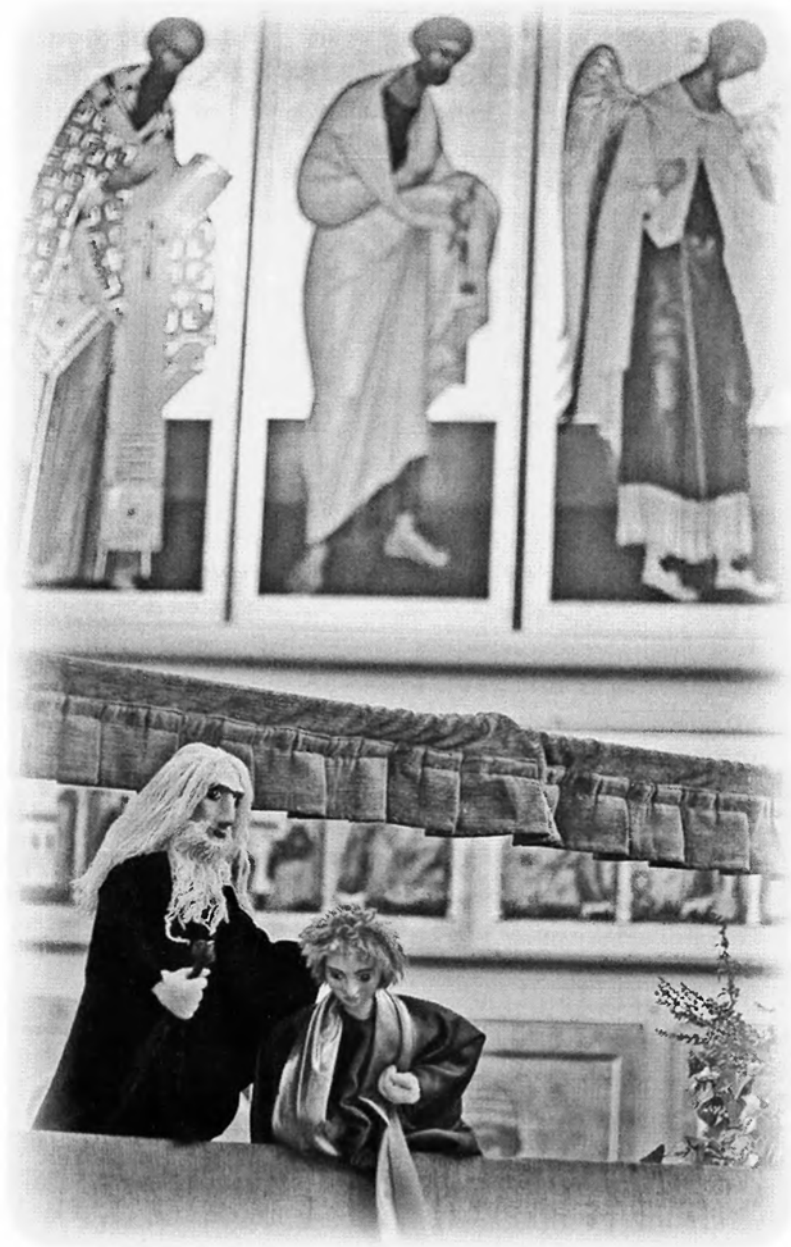
Экзамены парень сдавал без огонька и успешно их провалил. Во-первых, знаний серьезных не было, во-вторых, был стыд и чувство, что находится он не в своей тарелке. Пришлось возвращаться домой. Всю обратную дорогу перед глазами, как упрек, стояли чистые и умные лица тех, кто остался в семинарии учиться и служить Богу.

На следующий год он опять поехал поступать в ту же семинарию, но уже не для того, чтобы завоевать любовь той девушки, а по назначению — чтоб стать священником. Кстати, отношения с девушкой у него не заладились. Они как-то обоюдно и одновременно друг к другу охладели, и начинавшийся было роман растаял в воздухе, как мираж.

Саул искал потерявшихся ослят, а нашел Самуила и помазание на царство. И наш герой искал одной любви, эгоистичной и переменчивой, а нашел другую — вечную и настоящую.

* * *

Две истории из бесчисленного количества подобных я подслушал и передал на бумаге. Передал для того, чтобы и читатель мог со мной вместе глубоко задуматься, вздохнуть и произнести: «До чего же премудр Господь!.. Прямо-таки хитер в поиске заблудившегося и потерявшегося человека».



Раздвоенность



Человек жил в грехах. Можно добавить — как в шелках. Можно заменить на привычное — «как свинья в грязи». Разум твердил, что это нормально. Глаз замечал такой же образ жизни у большинства окружающих. Но что-то неумное внутри плакало, как ненакормленный ребенок, и было ясно, что грех — это не норма. Плачет ли это «что-то» внутри у всех остальных — неважно. Важно, что счастья нет, хотя и сыт, и одет, и в статусе. Хотя и небо над головой давно забыло о свисте авиационных бомб. «Если жизнь — это только то, что я вижу и знаю, то я обречен грешить и тосковать», — думал человек. Он хотел знать, есть ли иная жизнь. Не там, за гробом, а здесь — но иная. Оказалось, что есть.

В сороковой день по смерти сослуживца человек стоял в небольшой кучке богомольцев в кладбищенской церкви на поминанье. Что-то вошло в него на этой простой службе в неказистой церковке. А может, не в него вошло, а в нем проснулось что-то, всегда бывшее, но долго не дававшее о себе знать. Он почувствовал, понял, как будто увидел сердцем, что смерти нет,

что поминаемый покойник жив, что жив Тот, о Ком говорится в тяжелой книге, что лежит в алтаре. «Если Бог есть, то смерти нет, — подумал человек. — А ведь Он есть, я чувствую это». В тот день в церкви человек много и утешительно плакал и потом весь день мало говорил. «Душа по природе христианка», — прочтет он позже. Она ожила в тот день, и у жизни появилась перспектива.

* * *

Он полюбил Церковь и будущую небесную жизнь. Целый мир, новый и неизвестный, затерянный, как у Жюль Верна, но более интересный, открылся ему. Стыдно было за все прожитое, жалко было потерянного времени. Но была мысль и цель, и образ Спасителя над мерцающей лампадкой грел и обнимал душу взглядом, как когда-то в детстве мамины руки.

И все же спустя годы он опять стал грешить. То ли устал молиться, то ли «привык к благодати», как говорили батюшки. Грех словно ожил на самом дне души, и поднялся вверх, и заявил вновь свои права, и вновь вошел в силу. Но теперь человек грешил, зная, что есть иная жизнь. Он грешил, как купленный раб, не забывший о свободе и о родной земле. Это было вдвойне мучительно. «Что же такое душа моя, — думал человек по ночам, — если среди грязи томится она и хочет святости, а среди молитв и благодати оживает в ней грех?»

С розановской горечью улыбался теперь он словам Тертуллиана о том, что душа по природе христианка. «Язычница она, душа», — соглашался человек со странным мыслителем. Томится она по греху, как блудница, вышедшая замуж, как те евреи, что скучали в пустыне по египетской пище. Ноет и плачет на дне ее неумерший грех.

* * *

Когда человек жил без молитвы и Бога, то жил в аду и в лесу привидений. Когда Бога узнал человек и ожило в нем сердце, то узнал он настоящую жизнь и попробовал на вкус одно из блюд будущего Пира. Когда снова стал грешить человек, то узнал он главную боль теперешней жизни – раздвоенность. И что будет завтра, не знает он. И жаль ему себя, и всех ему жаль, потому что все одинаковы.

* * *

Часто ночью, когда не спится, рискуя с утра опоздать на работу, идет человек молиться. Идет туда, где горит лампада, – на кухню. «Помилуй меня, помилуй...»



Судья и священник



Судья стоял у широкого офисного окна и вытирал скомканным платком мокрый от пота затылок. За глаза все, кто знал его, называли его бульдогом. Его и нельзя было иначе назвать, стоило только раз увидеть его сзади.

— Что там еще на сегодня? — спросил он у секретарши и пробормотал про себя: «Адская жара».

— Один священник из греческой церкви, той, что на окраине города, — сказала секретарша, не поднимая глаз. Все знали, что шеф не любит жару и страшно зол, когда потеет.

— Вшивые эмигранты. Моя бы воля, выставил бы их всех из страны в двадцать четыре часа.

Он провел мокрым платком по шее под подбородком и брезгливо поморщился, будто раскусил лимон.

— Может, открыть окно? — спросил он у секретарши.

— Нет, шеф. В помещении плюс двадцать восемь, а за окном все плюс тридцать пять.

— Ну да, да. Так что этот греческий поп?

— На него опять жалоба, шеф.

— От кого? Опять из экологического надзора?

— Нет. На этот раз из этического комитета.

Бульдог порывисто развернулся и подошел к секретарше. Та заметно съежилась и подняла на него глаза, изобразив на лице выражение покорности и страха.

— Что за новости? Мало мне было возни с экологами и пожарниками?

Широкими шагами он промерил комнату взад и вперед по диагонали. Руки его были заложены за спину, а губы гневно шевелились, выдавая бушующий в душе огонь.

— Что еще он учудил?

— Я не знаю, шеф. В этический комитет пришли три жалобы от прихожан. Дескать, священник груб и не толерантен к людским слабостям.

— Зови его сюда.

Секретарша поспешно вышла и уже через десять секунд вошла обратно. Вслед за ней в кабинет вошел невысокий и худощавый человек лет пятидесяти от роду, одетый в длинную одежду до пола с длинными рукавами, закрывающими кисти рук. Он, казалось, вобрал голову в плечи, хотя в глазах страха не было. Напротив, в глазах была смелость и любопытство.

— В который раз вы приходите ко мне в качестве ответчика? — Бульдог цедил слова, сдерживая гнев и придавая себе лишней значительности.

— Третий.

— Разве ваше Писание не велит быть покорным властям? Разве весь ваш Новый Завет, который вы день за днем проповедуете, не говорит о смирении?

— Да, Ваша честь. Но мы ни в чем не погрешили против властей и ни в чем не проявили гордыню.

— За что вас вызывали в прошлый раз?

— Экологический комитет счел опасным то, что мы разжигаем на службах кадило. Они установили в нашем храме аппаратуру, которая реагирует на дым. Все вроде для нашей пользы и безопасности, но служба лишилась кадильного благовоения.

— На кой черт ваше благовоение?

— Осмелюсь сказать, ваша честь, что черт как раз нашего благовоения боится.

Бульдог дернулся, будто его укусили в шею.

— Ладно. А в позапрошлый раз?

— Пожарники заставили нас тушить на службе свечи.

— И вы потушили?

— Мы потушили их, а затем снова зажгли. Мы нарушили предписание, но поймите: храм без живого огня — уже не храм. Кроме того, и в синагоге, и у кришнаитов разрешается зажигать огонь, и только у православных это запрещено.

— Я тоже христианин, но у меня в доме собраний лампы электрические. — Бульдог ненавидел религию и только ради мамы, которую очень любил, ходил по воскресеньям на баптистские собрания.

— Нашей вере больше двух тысяч лет, и в ней всегда было место светильникам. — Видно было, что священник готов говорить больше в защиту веры, но сомневается, поймут ли его.

Мощный, размеренный и устрашающий звук работающих лопастей проник в кабинет сквозь закрытые окна. На крышу соседнего небоскреба садился вертолет. Закатное солнце пульсировало в мельнице его большого винта и порциями бросало малиновый свет в окна «бульдожьего» кабинета.

— Что теперь?

— Я не знаю.

— Что теперь?! — Судья повысил голос и повернулся к секретарше.

— Одно заявление, — лепечущим голосом произнесла девушка, — касается того, что священник неуважительно отозвался о любителях домашних животных, а второе — того, что он ругал на службе гомосексуалистов и лесбиянок. — Последнее слово она произнесла совсем тихо и, произнеся, густо покраснела.

— Это правда?

— Ваша честь. Я всегда говорил, что человека нужно любить больше, чем кошек и канареек. Можно шить собакам тапочки и спать с ними в обнимку, но при этом ни разу не пойти к больному родственнику в больницу. Это неправильно.

— А эти, как их там? Ну, эти?

— Гомосексуализм — страшный грех. Он как магнит тянет на себя наказание от Бога. Если угодно, я говорю об этом в целях национальной безопасности.

— Ха-ха-ха! Греческий приبلуда окопался в нашей стране и переживает о ее безопасности! — Судья подошел к священнику вплотную и сверху вниз презрительно посмотрел на него. — Я вижу вас насквозь и ненавижу вас. Я ненавижу ваш церковный запах, вашу нелепую одежду, вашу бороду, ваши проповеди, хоть я их и не слышал. Я ненавижу законы нашей страны, запрещающие мне отвертеть вам, как цыпленку, вашу упертую башку!

Священник не изменился в лице, только опустил голову и закрыл глаза. Судья два раза сжал и разжал тугие кулаки и отошел к окну. Ему хотелось одним ударом справа (а он это умел) сломать этого тщедушного эмигранта. Но он был судьей, а не тюремным надсмотрщиком, поэтому кровь пульсировала у него в висках и не находила выхода.

Солнце спряталось за крышу соседнего небоскреба. На улице стало чуть свежее. Судья открыл окно и, не оборачиваясь, сказал:

— Вы заплатите очередной штраф. Но это — в последний раз. Еще одна жалоба, и я закрою ваш эмигрантский клоповник, а вас на год посажу в тюрьму за злостное противление закону. Идите.

Священник вышел и неслышно закрыл за собою дверь.

— Сволочь, — сквозь зубы процедил Бульдог. Секретарша испуганно покосилась на его мясистый затылок.

Судья открыл шире окно и посмотрел вниз. Люди с высоты тридцатого этажа казались маленькими, как муравьи. Зажглись фонари. Сновали туда-сюда машины.

— Гляди, гляди! — Судья что-то увидел внизу и позвал к себе секретаршу.

Та выглянула из окна. Внизу по тротуару ползла ленточка людей в одежде одинакового цвета. Они что-то пели и бренчали не то колокольчиками, не то тарелками. «Кришна, Кришна... Харе, харе...» — слабо доносилось снизу.

— Все-таки у нас свободная страна, — сказал Бульдог, широко улыбнувшись. Он закрыл окно и игриво ущипнул секретаршу. Та вздрогнула и глупо улыбнулась в ответ.

Рабочий день окончился.



Школа роста



Есть у Чехова рассказ под названием «Пари». Суть происходящего в рассказе заключается в том, что на одной вечеринке между людьми возник спор об уместности смертной казни. Одни говорили, что она необходима, другие — что она непозволительна и должна быть заменяема пожизненным заключением. Раздался также и голос некоего студента, который сказал, что с нравственной точки зрения убийство и пожизненное заключение одинаково ужасны, но что он бы, в случае выбора, согласился на пожизненное.

— Вы и пяти лет не выдержите, не то что пожизненное заключение, — сказал студенту один из присутствовавших на вечере богачей.

На эти слова студент ответил предложением пари и вызвался за 1 миллион высидеть в добровольном заключении пятнадцать лет. На том и порешили. Заключение нужно было терпеть во флигеле упомянутого богача, сношение с миром осуществлять только через письма, все необходимое (книги, еду, ноты и прочее) богач обязывался предоставить по первому

требованию. Общаться с людьми — запрещено, и если студент выйдет из затвора хоть на полчаса раньше, он проиграл.

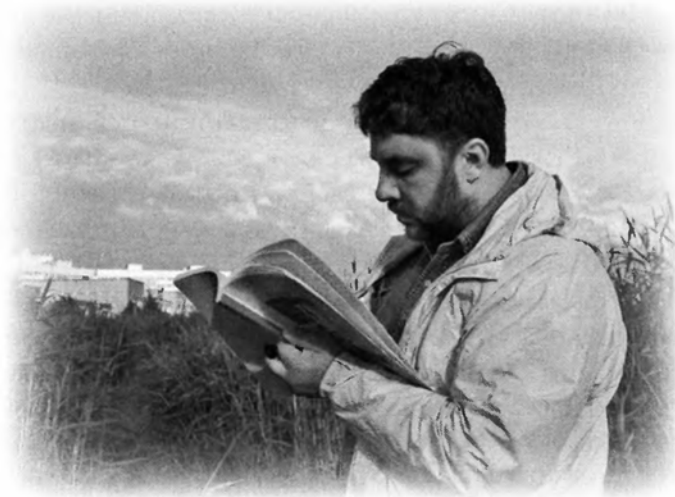
Кто хочет узнать, чем дело закончилось, пусть читает оригинал. Мне же представляется важным то, чем занимался студент в своей импровизированной тюрьме, а точнее — что читал. Человеку крайне важно научиться работать с текстами и информацией, чтобы не захламлять сознание, чтобы избегать ловушек, чтобы не повторять чужих ошибок. В информационном же обществе (а именно в нем мы и живем) сей навык просто-напросто приравнивается к необходимой технике безопасности.

Итак, Антон Павлович следующим образом описывает поведение добровольного узника:

«В первый год юристу посылались книги преимущественно легкого содержания: романы с сложной любовной интригой, уголовные и фантастические рассказы, комедии и т.п.».

Именно так и читает большинство людей, одаренных умением читать. Для них искусство и культура — лишь способ уйти на время в параллельный, ни к чему не обязывающий мир, попытка отдохнуть и расслабиться. Развлечения ищет «почтеннейшая публика» в таком подходе к искусству, развлечения и легкой альтернативы тяжелой и обременительной действительности. В мире братьев Люмьер этому чтиву соответствует tutti-frutti, то есть вся бурда: мелодрамы, боевики, мыльные сериалы, фэнтези. Но обыватель в тюрьме не сидит и на этом этапе может провести всю жизнь без остатка. Зато студент сидит, и его душа вынужденно развивается, посему меняется и читательское меню.

«Во второй год музыка уже смолкла во флигеле и юрист требовал в своих записках только классиков.



В пятый год снова послышалась музыка и узник попросил вина. Те, которые наблюдали за ним в окошко, говорили, что весь этот год он только ел, пил и лежал на постели, часто зевал, сердито разговаривал сам с собою. Книг он не читал. Иногда по ночам он садился писать, писал долго и под утро разрывал на клочки все написанное. Слышали не раз, как он плакал».

Классика пришла на второй год. Когда она придет к человеку, находящемуся в обычных, а не экстремальных условиях, — вопрос. Но она должна прийти. Нужно перечитать произведения школьной программы, чтобы развеять иллюзии знакомства с ними, и впервые прийти в восторг и уронить слезу над Гоголем, Пушкиным... Потом захочется самому что-то написать (студенту захотелось). Но это скоро пройдет (студент на утро разрывал все написанное).

Но на этом развитие тоже не заканчивается.

«Во второй половине шестого года узник усердно занялся изучением языков, философией и историей. Он жадно принялся за эти науки, так что банкир едва успевал выписывать для него книги. В продолжение четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов. В период этого увлечения банкир, между прочим, получил от своего узника такое письмо: “Дорогой мой тюремщик! Пишу вам эти строки на шести языках. Покажите их сведущим людям. Пусть прочтут. Если они не найдут ни одной ошибки, то, умоляю вас, прикажите выстрелить в саду из ружья. Выстрел этот скажет мне, что мои усилия не пропали даром. Гении всех веков и стран говорят на различных языках, но горит во всех их одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа оттого, что я умею понимать их!” Желание узника было исполнено. Банкир приказал выстрелить в саду два раза».

Та ступень, до которой дорос необычный затворник, называется жаждой глубоких знаний. Здесь стоит оговориться и признаться, что у подавляющего большинства из нас нет и не будет никакой возможности засесть за фундаментальное образование во взрослом возрасте. Это – редкий удел небольшого количества людей. Но жажда подлинных знаний у нас быть должна. Сама эта жажда будет защитой души от всякой информационной суеты и мелочи, которая норовит всякому залезть в рот и набиться в уши, как таежная мошकारа.

Мы уже видим направление развития личности. Сначала легкое чтиво, затем классика, затем – наука и языки. То есть сначала Маринина, потом – Сэлинджер, потом – Платон в оригинале. Или сначала – радио «Шансон», потом – оркестр Поля Мориа, потом – Бах и Гендель.

Но идем дальше.



«Затем, после десятого года, юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только Евангелие. Банкиру казалось странным, что человек, одолевший в четыре года шестьсот мудреных томов, потратил около года на чтение одной удобопонятной и не толстой книги. На смену Евангелию пришли история религий и богословие».

Заметим удивление банкира. Шестьсот томов и маленькая книжечка. Что там можно читать так долго? До чего над ней можно додумываться? Подобные вопросы не высказываются многими лишь по причине отсутствия повода. Но заметим: над Евангелием замер человек, закаленный в чтении и изучении серьезных книг и наук. Человек мелкий и пустой пробежит евангельский текст глазами, зевнет и включит телевизор. Потом на вопрос: «Вы Евангелие читали?» — он будет громко отвечать: «А как же!» Что ни говорите, но чем глубже и основательнее человек, тем глубже и основательнее его вера.



«В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора. То он занимался естественными науками, то требовал Байрона или Шекспира. Бывали от него такие записки, где он просил прислать ему в одно и то же время и химию, и медицинский учебник, и роман, и какой-нибудь философский или богословский трактат. Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и, желая спасти себе жизнь, жадно хватался то за один обломок, то за другой!»

Последний этап характерен двумя вещами. Во-первых, человек, докопавшийся до глубин, в эти глубины глянувший, может действительно читать все. Ему все интересно и все не так опасно, как людям неискушенным. Во-вторых, студент находился на финишной прямой и ожидал окончания срока пари, а это самый тяжелый период заключения. В это время он особенно остро мучился и искал развлечения.

Вот, собственно, все, что я хотел извлечь из сказа. Чем он закончился, я не скажу, стимулируя здоровый интерес к хорошей литературе. А нам с вами, братья и сестры, нужно извлечь из сказанного ту мысль, что душа, начавшая трудиться, непременно проходит на пути своего развития вполне определенные этапы.

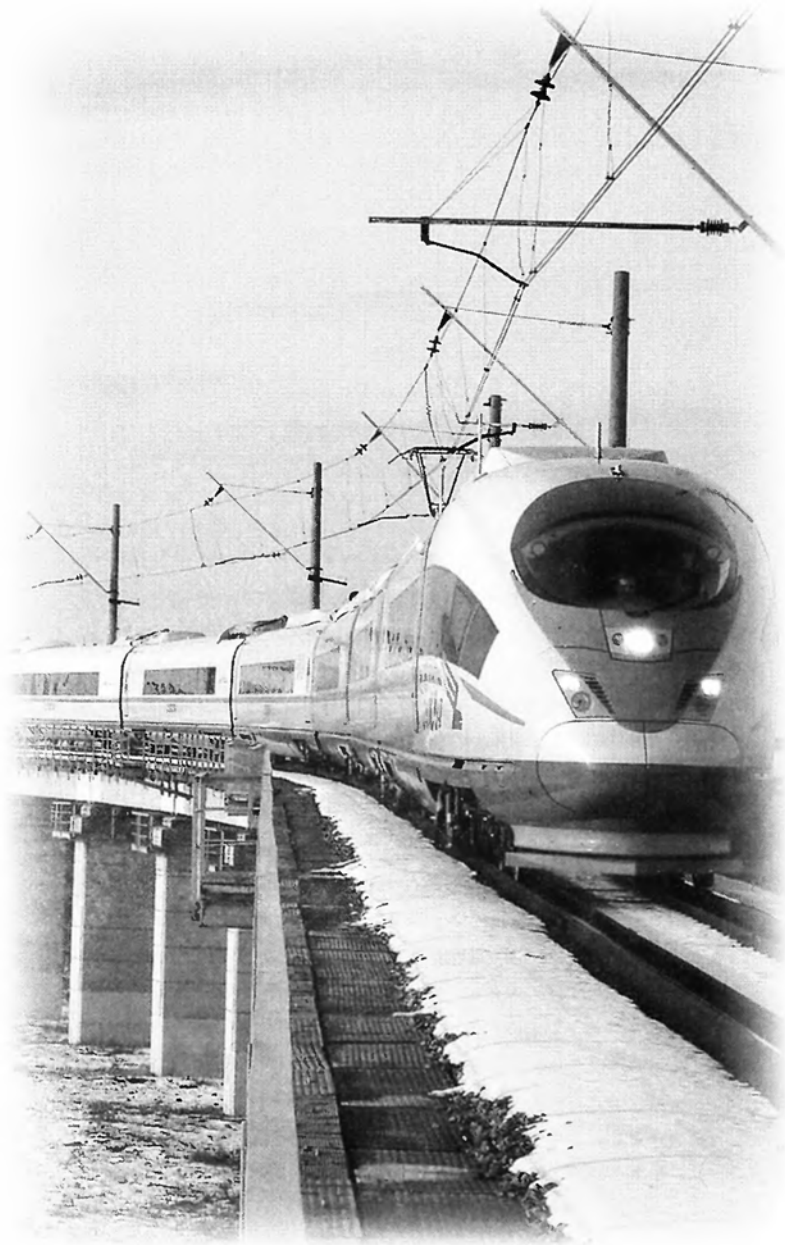
Нужно переболеть всякой чепухой и перерасти ее.

Нужно добраться до серьезных книг, отнимающих сон и переворачивающих душу.

Нужно ощутить скорбь от того, что у нас нет глубокого классического образования, нет базы. И нужно постараться хоть как-то эту потерю восполнить.

Наконец, нужно дочитать до слова Божия и найти в нем ни с чем не сравнимую сокровищницу красоты, и пользы, и смысла.

Только упомянутую школу духовного роста лучше проходить на воле и в тюрьму ради этого не садиться.



Город, которого нет



Скоростные поезда нынче соперничают с самолетами. В таком поезде нельзя смотреть в окно — глаза заболят. Дома, столбы и деревья не проплывают мимо, а мчатся, сливаясь в сплошную пеструю массу. Нужно читать или, что еще лучше, дремать, откинувшись в кресле.

Я полулежал в кресле у окна с закрытыми глазами, но сон не приходил ко мне. Вместо него, калейдоскопом сменяя друг друга, приходили, как грезы, воспоминания детства. Я уехал из дому безусым мальчишкой, уехал не зная куда, чтобы учиться и работать, чтобы стать, как говорили взрослые, человеком. И вот спустя много лет, став человеком и попутно набрав лишний вес, страдая одышкой, уже не безусый, но с усами и с гладко выбритыми щеками, я ехал в город своего детства. Ехал на несколько кратких часов, которые выкроил из программы скучнейшей научной конференции, в которой принимал участие. В этом городе меня не ждал никто. Родители давно умерли, и могилы

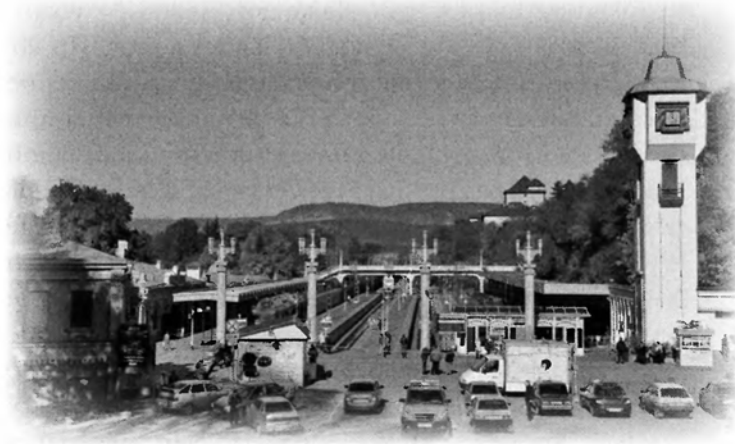
Город, которого нет

их были далеко отсюда. Даже дом наш, по слухам, был разрушен в последнюю большую войну. Но когда ученое сообщество прислало мне приглашение на конференцию и место проведения конференции оказалось всего в сотне километров от моей малой родины, я не раздумывал ни секунды. И вот теперь поезд нес меня навстречу городу, которого больше не было, который сохранился только в моей памяти и в самой глубине сердца, где продолжает жить не желающий взрослеть ребенок.

В моем детстве было все то же самое, что было в детстве моих сверстников. Мы одевались плохо, почти в лохмотья, но не замечали этого, поскольку никто вокруг не одевался лучше. Наше детство было голодным. Иногда один помидор или горсть вишен были нашей дневной пищей. Мы всегда хотели есть, но никогда не переставали шутить и смеяться. У всех родители были бедны и брались за любую работу, лишь бы в доме вечером был затоплен очаг и появилась горячая пища. Все это сегодня кажется очень далеким, почти фантастическим. Я словно видел это в кино, а не пережил лично. Поэтому я не ворчу на молодежь, не понимающую, что такое пустой желудок и тяжелый труд. Какой смысл ворчать на них, если мы сами, пережившие это, стали разборчивы в пище, разленились и привыкли к комфорту.

* * *

У меня было всего лишь два часа между прибытием и отправлением обратно. Для нашего городка это не так и мало. Хотя уже первый взгляд на здание вокзала говорил о том, что изменилось в городе моего детства гораздо больше, чем я думал. Он стал безликим, мой город, он потерял лицо. Исколесив половину мира, я много раз замечал эту черту: города



стремятся стать похожими друг на друга точно так же, как раньше нам было стыдно не курить в кругу товарищей и мы перенимали за компанию плохие привычки. Здесь, на вокзальной площади, появился китайский ресторан, а рядом с ним красовалась пиццерия. В окне галантерейного магазина на витрине стояло мыло тех же сортов, что и в любом другом городе. Сигареты, напитки, надписи на футболках и мелодии из транзисторов в кабинах такси здесь были такими же, как везде.

Но неужели я думал, что будет иначе? Нет. Умом я понимал, что иначе быть не может и не должно. Но сердце ощутило неприятный укол. Еще бы! Ведь я приехал не просто в один из городков Европы, а в город грез и детских сновидений, в город первой влюбленности и первых слез.

* * *

Мы жили недалеко от вокзала. В нашем городке вообще все было недалеко. Несколько раз в день мы обегали его кругом, вдоль и поперек, успевая побывать

и на пустыре, и у дальних воинских казарм, и еще Бог знает где. Возможно, с тех пор я приучился не столько ходить, сколько нестись, спешить куда-то. Этот навык сильно мешает мне теперь, когда молодость осталась на фотографиях, а рубашка на спине взмокает через пять минут ходьбы и колотится сердце. Но иначе ходить я не умею, и уже через десять (не пять, а десять) минут, шумно дыша и вытирая со лба пот платком, я очутился на месте нашего дома.

Пресвятая Богородица! Здесь был наш дом. Теперь вместо нашего желтого облезлого двухэтажного домика, на первом этаже которого жили мы, а на втором — офицерская вдова, стоял новый шестиэтажный дом. Его стены впитали в себя тепло наших тел и наши голоса, но никто из живущих здесь об этом не думал. Мне захотелось присесть, чтобы, никуда не торопясь, отдаться воспоминаниям, воскресить в памяти картинку детства. Присесть было некуда. Тогда я представил себе, что мне не шестьдесят один год, а восемь или девять, что солнце давно взошло и мать кричит, чтобы я вставал с постели. Она всегда кричала на меня, хотя готова была в любое время отдать за меня всю кровь по капле.

— Георгий! Сколько можно спать! Всю жизнь проспай. Вставай, лентяй, ты мне нужен.

Отец сидел в углу и занимался работой. Он был сапожник, хотя окончил музыкальное училище. Но в нашем городке каждый второй умел петь и играть на каком-нибудь инструменте, и музыкой было не зарабатывать. Ему повезло вчера. Сделанные им ботинки купили, и, значит, сегодня мы будем есть вкуснее обычного.

— Пресвятая Богородица! Этот лентяй еще в кровати. Георгий! Одевайся и беги за продуктами. Купи



овощей, сметаны и можешь купить себе чего-нибудь сладкого. Наш папа заработал немного денег.

Последние слова мама произнесла тише, с нежностью взглянув на отца.

Я оделся в считанные секунды. Еще немного — и солнечный свет залил мне глаза, и, зажмурившись, я остановился за порогом.

Полстолетия прошло с тех пор, но я помню тот день в деталях. Я подошел к тому месту, где, кажется, был наш порог, и пошел старым маршрутом от лавочки к лавочке, воскрешая себя десятилетнего, покупая для семьи продукты.

* * *

Вот здесь была лавка дяди Харлампия. Каждый раз, когда видел меня, он трепал меня по щеке своей большой и шершавой ладонью и говорил: — Георгий, ты стал совсем большой. Да спасет тебя Пресвятая Богородица. — В нашем городе все очень любили Пресвятую Богородицу, и Ее имя не сходило с уст моих земляков. — Как родители? Как школа?

Я немножко стеснялся, даже краснел, говорил, что все в порядке. Затем покупал горох, сельдерей, лук и обязательно немножко чеснока. Мой отец так любил, чтобы в еду добавляли чеснок. Наши соседки даже смеялись над ним по этой причине. Они говорили маме:

— Мария, если бы наши мужья ели столько чеснока, сколько твой Стефан, у нас не было бы детей. Мы бы их просто не подпускали к себе. — И ха-ха-ха.

Но мама не обижалась и клала в еду столько чеснока, сколько просил отец.

— Мужа нужно уважать, — говорила она. — Если бы у нас была дочка, я научила бы ее всему, что нужно в браке. — Но дочки у мамы не было. Я был один.

После лавки дяди Харлампия была лавка дяди Костаса. Вернее, не лавка, а пекарня. Оттуда всегда пахло свежим хлебом, и сам дядя Костас пах хлебом. Мы, голодные мальчишки, вечно крутились возле его лавки, втягивая носом пахучий воздух, а он, хоть и ворчал на нас, время от времени выносил нам небольшие булочки по одной на двоих. В тот день Костас попросил меня помочь ему разложить свежий хлеб на прилавке. Он дал мне большие белые рукавицы, и вместе мы сделали эту работу быстро. В награду он дал мне в подарок целый хлеб, и это значило, что несколько монет оставались сэкономленными. Пресвятая Богородице! Слава Твоему Сыну! Я могу теперь купить не один, а два или даже три кусочка рахат-лукума. Мои ноги уже было повернули в сторону кондитерской, но тут я подумал, что хорошо бы купить что-то маме или отцу.

Здесь память подвела меня. Что же я купил тогда? Может, папиросы для папы? А может, гребешок для мамы? Не помню. С этими мыслями я обернулся

в сторону лавки дяди Костаса и с удивлением увидел себя. На месте целого квартала, где стояли лавочки и магазины, теперь стоял супермаркет. Возле его стеклянной стены я стоял и смотрел на свое отражение. Можно было войти в магазин и купить все сразу — хлеб, зелень, табак, сладости. Но никто не спросит уже у тебя: «Как дела, Георгий?» Никто не взъерошит твои волосы, никто не скажет: «Да спасет тебя Пресвятая Богородица!»

* * *

Скоростные поезда нынче соперничают с самолетами. Один из таких поездов уносил меня прочь от города, которого больше нет. Этот город теперь не зависит ни от карты, ни от войны, ни от политических изменений. Он живет у меня в сердце, и в нем живут те, с кем я ходил в школу, разговаривал, пел, шутил и дрался. Там живут отец и мать, соседка с верхнего этажа и добрые лавочники. Я закрываю глаза и вижу их лица.

Да спасет их всех Пресвятая Богородица!



Старушка



Старушка, что называется, зажила. До последнего у себя в селе вставала с петухами, возилась по дому и возле дома и только с наступлением холодов позволяла внукам забрать себя на зиму в город. К концу поста городская квартира уже мучила ее, хотелось на воздух, к земле, к своей хатке, которую перед Пасхой нужно было и проветрить, и убрать, и украсить. Но этой весной домой ее не отвезли. Ослабла бабушка. Ослабла вдруг сразу, как будто сила ушла из нее так, как уходит воздух из развязанного надувного шарика. Сначала она вставала и ходила по квартире, в основном до туалета и обратно. Затем и этот путь стал для нее непосильным. Маленькая и тихая, как больной ребенок, она лежала в отведенной для нее комнате. Внуки вставали рано и, попив чаю, уносились на работу и по делам. Правнук уходил в школу. Поэтому для старушки наняли сиделку, и та ухаживала за бабушкой. В ее комнате было чисто и тепло. Ела она мало, меньше младенца, и ежедневным занятием ее было смотреть в окно напротив и читать по памяти молитвы.

Такой я и увидел ее, высохшей, с заострившимися чертами лица, лежащей на спине и смотрящей прямо перед собой. Меня пригласили причастить ее. Зная по опыту, что люди часто зовут священника к больному, когда тот уже ни есть, ни говорить не может, то есть не может ни исповедаться, ни причаститься, я спросил перед приходом, может ли она исповедоваться.

— Она у нас очень набожная и сейчас только и делает, что молится, — отвечала внучка.

В условленный день меня забрали из церкви и привезли к старушке. По моей просьбе столик возле кровати застелили, поставили зажженную свечу и стакан, в котором на доньшке была теплая вода — запить причастие. Затем внучка с мужем и сиделкой вышли, и мы остались вдвоем.

— Вы слышите меня, бабушка? — спросил я.

В ответ она кивнула и губами сказала:

— Чую.

Теперь нужно было задавать вопросы, спрашивать о грехах, обо всем том море всевозможных ошибок, которые сознательно и несознательно совершаются людьми и которые, как цепи на рабах, висят на людских душах. Я задал один вопрос, другой... Старушка ничего не ответила. Она продолжала смотреть прямо перед собой, только руки сложила ладонями вместе так, как их складывают на Западе, когда молятся. Это были руки, работавшие тяжело и всю жизнь. Я часто видел такие руки у стариков, перекрученные ревматизмом, худые, со вспухшими венами, и всегда мне хотелось их поцеловать. Историю XX века с его коллективизациями, трудоднями, войнами, бедностью, молчаливым терпением можно учить не читая книг, только глядя на руки стариков, все это переживших.



Бабушка вдруг зашевелила губами, и я склонился к ней, стараясь расслышать хотя бы слово. «За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй мене». — Старушка молилась, молилась так, как ее учили родители, с теми особыми выражениями, которые встречаются в старых молитвенниках, изданных где-то во времена Первой мировой. Она прочла «Трисвятое», дошла до «Отче наш» и прочла Иисусову молитву отчетливо. Затем стала читать Символ веры. Я слушал. Там тоже попадались старые слова, сохранившиеся со времен святителя Димитрия Ростовского. Вместо «нас ради» я услышал «нас дия человек и нашего дия спасения». Это было трогательно и красиво. Человек достиг заката земной жизни, готовился встретиться с Богом и уже не мог говорить, но все еще мог молиться. Человек молился, повторяя слова, со времен детства повторенные уже не одну тысячу раз. Какие грехи она совершила? Какие из них оплакала и исповедала? За какие понесла очистительные скорби, хороня родных, боля, тяжело трудясь? Вряд ли я мог уже это узнать. Но нельзя было не причастить эту сухонькую и беспомощную женщину, лежавшую перед моими глазами и молившуюся, сложив по-детски руки.

Не поворачивая головы и не меняя выражения лица, она приоткрыла рот, чтобы принять Святые Тайны. Затем покорно запила, два раза глотнув теплой воды из стакана, который я поднес к ее устам. Когда я стал читать «Ныне отпускаеши», старушка, словно закончив работу и собираясь отдыхать, закрыла глаза и опустила руки вдоль тела.

Уходя, я поговорил с внучкой о том, как поступать, «если что», и, отказавшись от чая, попросил отвезти меня в храм. Пока мы ехали по узким улицам перегруженного машинами города, мне хотелось думать

о Марии Египетской, которая просила Зосиму перед тем, как ее причастить, прочесть молитву Господню и Символ веры.

Бабушка отошла на Светлой седмице. Мы с псаломщиком пели над ней Пасхальный канон, и казалось, что она вот-вот приоткроет уста и начнет шепотом повторять за нами: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало и, играюще, поем Виновного...»

На девятый день внучка с мужем и сыном была у нас в храме, и мы служили панихиду. Так же было и на сороковой. В сороковой день после молитвы я спросил у внучки, как их дела, как жизнь, как правнук отнесся к смерти старушки.

— Все хорошо, отче, — ответила она, — только кажется, будто кто-то отнял у нас что-то. Бабця (она назвала ее по-местному) не могла нам уже ничем помочь. Да мы и не хотели от нее никакой помощи. Но за те пару месяцев, что она у нас доживала, так хорошо пошли все дела, и по бизнесу у меня, и у мужа на работе. А теперь как-то стало тяжелее, то тут проблемы, то там. Может, нам кто-то «сделал» какие-то пакости?

Мы поговорили с ней минут десять, и я попытался разубедить ее в чем-то недоброжелательстве и возможной ворожбе. «У вас дома, — сказал я ей, — несколько месяцев была смиренная и непрестанная молитва. А теперь молитва прекратилась. Хотите помощи — начинайте молиться сами, как молилась она».

На том мы тогда и расстались. Я дал себе слово не забыть тот случай и непременно рассказать о нем прихожанам. Рассказать о том, как полезен бывает кажущийся бесполезным человек, и о том, что «безболезненная, непостыдная, мирная кончина жизни» есть, и мы не зря так часто о ней молимся.



Чудаки



Количество кошек в квартире у тети Жени не поддавалось исчислению. Стоило войти в дверь, как ты попадад в кошачий заповедник, кошачье царство, в котором рыжие, серые, черные, пятнистые животные сидели на кухонном и гостинном столах, на подоконниках, на старом платяном шкафу. Животные были всюду, они потягивались, лежа на кровати, умывали мордочки, облизывали лапы, вальяжно прохаживались по квартире, выгибали спины и терлись в прихожей боками о твои ноги. Они везде оставляли свой запах, вернее — свою вонь, и свою шерсть. Это становилось особенно заметным потом, когда ты выходил из этого мурлычущего зверинца на улицу и с ужасом видел, что кошачья шерсть покрывает твою одежду от нижнего края брюк до локтей и выше. На твоём месте любой аллергик вычихал бы внутренности и истек слезами. Но ты, по счастью, здоров, и тебе остается двумя пальцами — указательным и большим — снимать с себя клочки и отдельные волосы, сопровождая это занятие незлым поминанием как отдельных котов, так и всего кошачьего племени.

У человека, оказавшегося однажды в квартире тети Жени, возникало непреодолимое желание никогда больше не переступать ее порога. Но это была несбыточная мечта. Тетя Женя регулярно хотела причащаться, а отказывать в Таинстве — смертный грех. Во избежание этого смертного греха нужно было приходиться к ней раз в месяц и оказываться под угрозой другого смертного греха, а именно — неблагоприятного отношения к святыне.

Дароносицу негде было поставить — кругом кошачья шерсть. И сами усатые и мяукающие твари вели себя так по-свойски, что, того и гляди, могли в любую минуту прыгнуть или тебе на плечи, или на стол с зажженной свечой и стаканом теплой воды для запивки. Саму дароносицу приходилось держать в руках не выпуская.

После причастия тетя Женя непременно хотела угостить дорогого гостя чаем и поговорить о жизни.

Она была блокадница, и этим многое объяснялось. В большой и опустевшей холодной петербургской квартире (мебель пошла на дрова) она когда-то сидела, обессиленная от голода, вместе с такой же обессиленной матерью. Не было сил выходить из дома, не было сил стоять в очереди за хлебом. Организм голодающего человека перестраивается на особый режим. Все органы тела каким-то им одним понятным способом отдают часть своей энергии нескольким самым важным органам: сердцу, печени, легким. Остальные переходят на полуспящий режим, чтобы не тратить силы. Первыми отказываются от энергозатрат мышцы лица, так называемые мимические мышцы. Нужда в их деятельности пропадает первой. Вся красочная палитра эмоциональных состояний, столь естественная для сытого и здорового



человека, скрывается под саваном отрешенности. Ни иронии, ни гнева, ни широкой улыбки, ни поднятых в удивлении бровей, ни опущенных от обиды уголков рта. Ничего. Только потухший взгляд и бессильно отвисшая нижняя челюсть. Отсюда у голодающих тот апатичный, полуживотный вид, который ни с чем не спутаешь.

Так они сидели в холодной и пустой квартире, ни о чем не разговаривая, почти не двигаясь с места, когда входная дверь стала содрогаться от ударов извне. Это был доведенный голодом до отчаяния сосед. Вооружившись топором, он решил добраться до двух изможденных и беззащитных людей — мамы и дочери, чтобы их мясом спастись от голодной смерти.

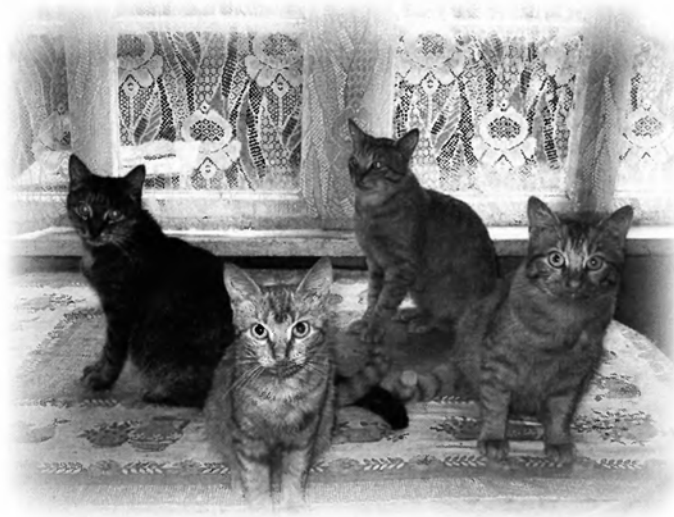
Они все поняли сразу, без слов. В голодающем городе приближение каннибала многие чувствуют кожей. А здесь — стук топора во входную дверь. Откуда-то взялись силы, и они, мать и дочь, стали стаскивать к дверям все, что осталось в квартире: чемоданы, кусок стола, остывшую печку-буржуйку. Баррикада была

слаба, но и тот, кто ломился к ним снаружи, не был силен. По тому, как слабели удары его топора, было ясно — он на пределе. Дверь уже была прорублена в том месте, где расположен замок, когда удары смолкли. Скованные страхом и голодом, они просидели неподвижно на полу неизвестно сколько времени. Взгляд их был прикован к двери, за которой больше не раздавалось ни звука. Там, за прорубленной дверью и тощей баррикадой, лежал умерший от истощения сосед. Его лицо, более похожее на анатомический череп, обтянутый кожей, замерло в жутком оскале. Костлявая рука крепко сжимала топор.

После таких историй, понятное дело, не будешь ничему удивляться. Тетя Женя, каким-то образом оставшаяся в живых, не могла пройти мимо бездомных кошек. Ее надорванная страданием, травмированная душа жаждала кого-то кормить, греть, защищать, прижимать к себе. Семьи у нее не было.

Из всего страждущего мира живых существ она остановила свой сердобольный взгляд на мяукающих животных. Хотя могла остановить его и на мышах, и на крысах, и на голубях с поломанными крыльями, и на бездомных псах. В этом случае тоже нечему было удивляться. Сколько таких чудачков бродило раньше по улицам старых городов! Именно старых. Потому что в новых городах народ был пришлый, свезенный для обживания пустых мест и на стройки века. А в старых городах продолжалась история.

Это была не только история культурного преемства и созидательного труда. Это была также и история бед, несправедливостей и страданий, отнимавших у одних людей жизнь, а у других — разум. Те, у кого осталась жизнь, но померк разум, одевались в одежды своей молодости, одежды, вышедшие из моды лет пятьдесят



назад. Они разговаривали сами с собой, не обращали внимания на насмешки и ироничные взгляды, медленным шагом прохаживались по изменившимся улицам родных городов. Бьюсь об заклад, они видели эти улицы такими, какими они были раньше: без электрических фонарей, без пестро одетой и вечно спешащей толпы, без автомобильных пробок.

Я тоже видел этих выживших из ума стариков, этих местных юродивых, едущих бесплатно в городском транспорте. Я, как большинство людей, побаивался их и подсмеивался над ними. Но были и другие чудаки. Внешне вполне респектабельные, занимавшие в обществе уважаемое положение. Никто и никогда, говоря о них, не покрутил бы указательным пальцем у виска, хотя все соглашались, что люди эти не без сумасшедшинки.

Одного из них звали Марк Иванович. Отца его звали Иван Маркович и, судя по всему, этот Иван

Маркович был сыном еще одного Марка Ивановича. Кто и когда первым начал эту игру, неизвестно. Но, продлевая свой род во времени, мужчины этой фамилии играли в некий пинг-понг и называли детей мужского пола только чередуя два имени — Иван и Марк. Пинг (Марк Иванович) — понг (Иван Маркович). Пинг (опять Марк Иванович) — понг (опять Иван Маркович).

Тот Марк Иванович, которого я знал, имел двух сыновей. Первого звали, как и подобает, Иван (Иван Маркович), а второго — Марк (Марк Маркович). Оба были похожи на отца, и странно было думать, что дети их тоже будут обречены носить ту же комбинацию имен и отчеств, словно роду этому поставлена кем-то задача запутать время, сбить с толку всех архивариусов и работников паспортного стола, надавать неразрешимых задач знатокам генеалогии.

Марк Иванович, которого я знал, был терапевт. Роста и сложения он был богатырского. Голосом обладал зычным и за столом любил петь обрывки каких-то арий. Когда, придя в дом по вызову, он садился у постели больного и, взяв того за руку, уверенным, приглушенным басом начинал рассказывать об этапах скорейшего и неизбежного выздоровления, самые безнадежные больные начинали ощущать прилив сил.

Он тоже пережил голод, этот Марк Иванович, родившийся от Ивана Марковича и назвавший своих сыновей Марком и Иваном. По внешности он был полной противоположностью идеи голода, но голод сделал свое дело. Тогда, в тридцатых годах на Уманщине, голод залез Марку Ивановичу под кожу и затаился навсегда. Этого по виду богатыря голод, а вернее страх голода, превратил в подобие грызуна, который все тащит в норку и ничего — обратно.



Портфель доктора всегда был полон объедков. Доставая шприц или таблетки, он мог нечаянно захватить заплесневелый, весь в зеленоватом пушке кусочек бутерброда. «О! Это же можно съесть!» — говорил он и прятал бутерброд обратно в портфель. Больные брезговали брать извлекаемые из сего портфеля таблетки, но доктор улыбался так наивно и лучезарно, что они сдавались.

В его доме никогда ничего не выбрасывалось. Мусор дети выносили по ночам, боясь, чтобы отец не остановил их и не заставил перебирать содержимое ведер. Это при том, что зарабатывал Марк Иванович прилично. Он всегда был при деньгах, но семья его жила в настоящей конуре, описание которой могло бы стать золотыми страницами реалистичной прозы XIX века, когда у читателя то и дело выжимали слезу сострадания к беднякам, живущим в трущобах.

Придите на помощь, Диккенс и Достоевский. Приди на помощь, на худой конец, Короленко, описывавший детей подземелья. Придите и опишите вместо меня эту конуру, где на четырех квадратных метрах помещались и кухня, и ванная, и кладовая. У моего пера нет чернил и клавиатура заливает.

Но он не был нищ, нет. Он был смешон, забавен, но не нищ. В каждом селе должен быть свой чудак. В каждом квартале должен быть свой бесплатный клоун, и если его нет, значит, жизнь подходит к завершающей фазе.

Смешон был у Марка Ивановича его разваливающийся «Москвич», к которому для усиления эффекта, казалось, оставалось лишь вместо очистителей стекол приделать две зубные щетки. Смешон был и гараж, составленный из железных листов так, словно это римские воины выстроили «черепашу» и, закрывшись щитами, идут на штурм городских стен.

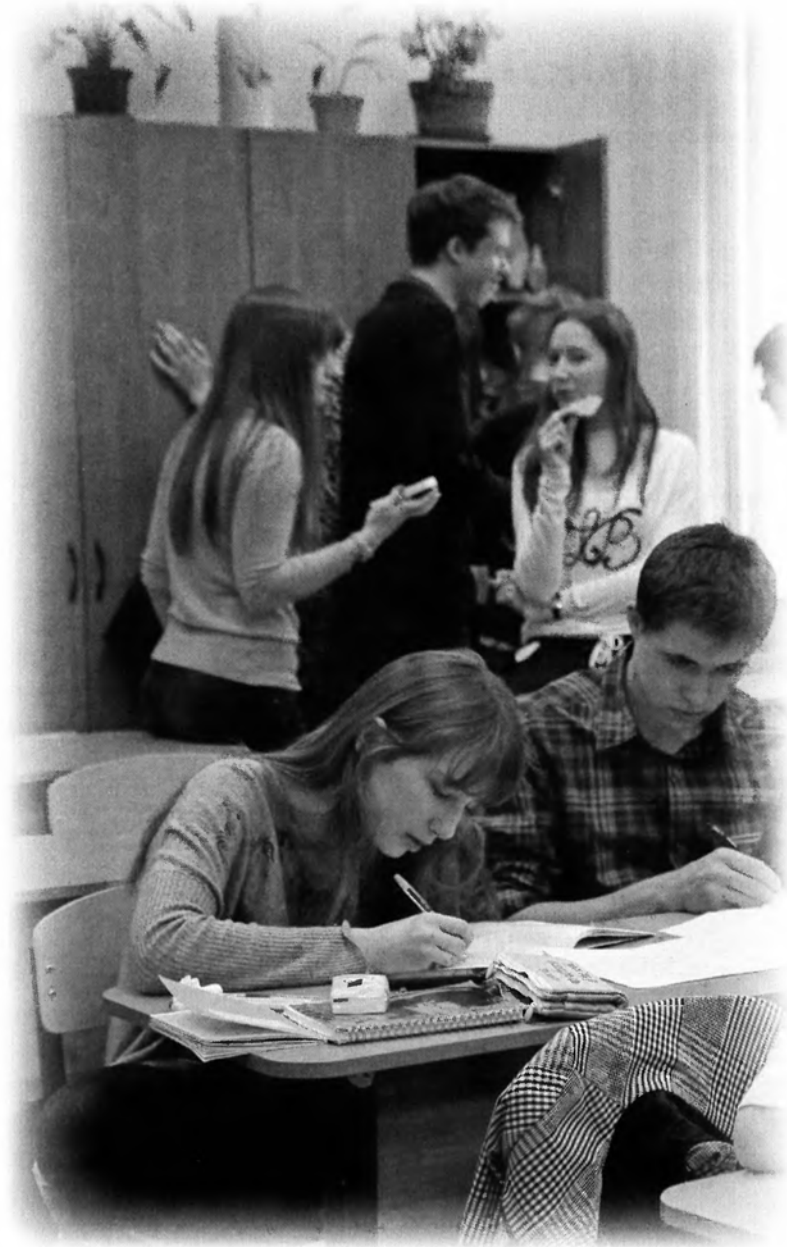
Он был забавен, когда рассуждал о новейших методах лечения гайморита; когда, подвыпив на дне рождения, пел арии из неизвестных опер; когда обтирался снегом на улице или бегал кроссы в свои без малого семьдесят. Забавным он перестал быть лишь когда стал разлазиться по швам и распадаться Союз. Марк Иванович как-то вдруг осунулся и постарел. Его старомодные и неизменные костюмы вдруг стали ему велики.

Вокруг шла суета вокруг каких-то купонов, талонов, вокруг обмена старых денег на новые. Люди покупали все, что можно было купить: от холодильников и машин до хозяйственного мыла и чеснокодавок. А Марк Иванович в этом не участвовал. Он ушел в себя, как зверь, уходящий от всех, чтобы умереть в одиночестве.

Он уже видел не раз на своем веку этот торговый ажиотаж, это превращение жизни в сплошной базар, эту спешную скупку всего и вся. Так бывает накануне или во время всех революций, оккупаций, коллективизаций. Так бывает накануне голода, который он больше не хотел испытать.

Когда он умер — замрите, облака, и умолкните, птицы, — на его личной, спрятанной от жены сберегательной книжке нашли счет с баснословной по тем временам суммой — то ли пятьдесят тысяч рублей, то ли что-то вроде этого. Все эти рубли в одночасье превратились в макулатуру. На них можно было купить квартиру или несколько новых машин. Теперь они существовали только в виде каллиграфической надписи, сделанной фиолетовыми чернилами на развороте сберегательной книжки. И каждая буква этой надписи издевательски кривлялась тому, кто на нее смотрел.

Если вам нравится осуждать людей, осуждайте. Осуждайте и этого чудака, столь непрактично распорядившегося заработанными средствами в наш чрезвычайно практичный век. Но осуждая, не забывайте, что душа его испытала нечто такое, что, слава Богу, не испытали вы. Это «нечто такое» называется голод, и люди, принимавшие в своем доме этого непрошеного гостя, навсегда становятся чудаками в глазах сытых и уверенных в своей правоте людей.



Учитель



Есть старые учителя, ушедшие на пенсию, но не могущие жить без школы. Часто именно они работают в группах продленного дня или, оформившись на полставки, делают какую-нибудь другую работу. В одной средней школе столицы в недавние холода, когда не только дети, но и учителя болели массово, в старших классах вел замены бывший учитель математики. Лет семь тому назад он уволился из школы по состоянию здоровья, но по привычке любил приходить в нее во время уроков. Иногда он просился у учителей посидеть на занятии, особенно на математике (он сам был математик), иногда просто медленным шагом бродил по коридорам.

Когда учебный процесс грозил остановиться из-за недостатка учителей, директор по старой дружбе предложила ему провести несколько замен в старших классах. Он охотно согласился, и эти замены, длившиеся всего неделю, произвели неожиданный эффект в образовательном процессе.

* * *

— Здравствуйте, дети. Я буду проводить у вас замены, пока болеют ваши учителя. Вообще-то я долгие годы преподавал физику. Но это не значит, что я не могу преподавать другие предметы. Историю, например, я знаю не хуже физики. Вообще я могу не мучить вас. Вам и так много задают. Вы можете готовить уроки по следующему предмету. Или мы просто можем говорить о чем-нибудь.

— А о чем?

— Ну, тем много. Просто о жизни. Я старше вас. Римляне говорили: «Я был как вы, вы будете как я». Я мог бы вам многое рассказать. Но это не обязательно. Вы можете просто сидеть отдыхать или готовиться к другому предмету. Только не шумите.

— А расскажите нам что-нибудь.

— О старости хотите?

— Нет. Нам о старости неинтересно. У нас вся жизнь впереди.

— Вам так кажется. Многое у вас уже позади. И то, что позади, уже никогда не вернется. Всю жизнь только вам придется осознавать то, что уже произошло с вами до сего времени.

— Что же с нами такого произошло?

— Много чего. Ученые говорят, что до трех лет мы получаем максимальный объем информации, который затем используем всю жизнь. Между человеком в тридцать лет и человеком в сорок расстояние, условно говоря, в ладонь. А между ребенком только что родившимся и ребенком трехлетним расстояние в сто километров. Человек не зря забывает ранние годы своей жизни. Взрослому и сильному, ему было бы очень не просто помнить себя беспомощным, абсолютно зависимым от родителей. А если бы мы

помнили долгие девять месяцев жизни у нашей мамы в животе, это было бы нечто невообразимое. Мы тогда точно не выдумывали бы и не читали бы фантастику.

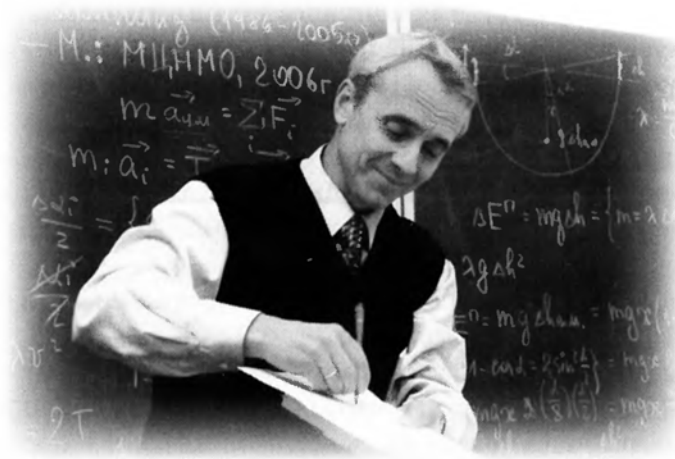
Вот вы смеетесь, а ведь человек живет много месяцев вниз головой. И питается не через рот, а через пуповину. И легкими не дышит. И солнечного света не видит. То есть ведет жизнь совсем не похожую на ту, что нам кажется привычной.

Отсюда — один шаг до веры в будущую жизнь. Я? Верю, причем несомненно.

Представьте себе, что два близнеца живут у мамы в животе и готовятся родиться. Представьте, что они умеют разговаривать. И один другому говорит: «Скоро мы погибнем». Другой спрашивает: «Почему?» — «Ну как же? Пуповину обрежут, вода вытечет, нужно будет наружу выбираться. А что там?» — «Как — что? Там солнце. Там мама и папа. Там будем расти, играть, смеяться. Там только жизнь и начнется». — «Ну да. Рассказываешь тоже сказки. Оттуда ведь никто не возвращался».

Вот так примерно и взрослые рассуждают о будущей жизни. Одни верят, что все только начнется, а другие тоскуют, что расстанутся с привычным окружением.

Это были первые уроки, которые нам по-настоящему запомнились. Девятиклассников трудно заинтересовать. На улице капает с крыш. Скоро весна. Учителя с той же методичностью, что и капель с крыш, капают нам на мозги своими науками. А мы не хотим их слушать. Мы хотим жить. Наша грудь — это воздушный шарик, который надут до отказа и вот-вот лопнет. Все школьное кажется нам занудным и бесполезным. И вдруг этот старый, как нам казалось тогда, человек с седыми усами щеточкой смог нас заинтересовать.



— Знаете, что такое актуальная бесконечность? Это бесконечность, имеющая пределы. То есть бесконечность и конечность одновременно. Как если бы человек все еще жил, но уже немножко умер.

— Что значит «немножко умер»?

— Не смейтесь. Свои школьные годы вы скоро будете вспоминать как далекую, безвозвратно прожитую жизнь. Вы будете жить дальше, но «та» жизнь останется только в памяти, она уже не вернется. Так в жизни бывает много раз.

Например, молодой человек приехал на лето в деревню. Там у него нашлись новые друзья. Было много веселья, приключений, купаний, длинных вечеров. Возможно, была первая любовь, первое смутное чувство, которое так мучит сердце. Лето закончилось, и настало время возвращаться домой. И вот этот молодой человек, перед тем как сесть в автобус или машину, почувствовал, что сейчас заплачет. Человек всегда хочет плакать, когда

глубоко чувствует изменчивость и трагичность жизни. Дети, возможно, чувствуют это глубже, чем взрослые.

Так вот, наш юноша вдруг понял, что прожил за это лето целую отдельную жизнь, что сейчас он простится с этой жизнью и она уже не вернется. Никогда. И новые знакомства, и прогулки в лес, и вкус собранных свежих ягод, и, может быть, первая любовь умрут сегодня и станут воспоминанием. Автобус или машина увезут его туда, в продолжающуюся жизнь, а «эта» жизнь станет историей. Вы все наверняка чувствовали что-то подобное. Это чувство и значит «немножко умереть». А значит оно — «немножко повзрослеть» и продолжить жизнь. Так что мы взрослеем умирая и умираем взрослея.

Кстати, все это можно выразить на языке математических формул.

Математика — это царица наук, как пехота — царица полей. Греки считали, что числа существуют отдельно от вещей. Мы с вами думаем, что числа нужны для счета предметов, а греки думали, что если бы все предметы исчезли, то числа бы остались. И в самом деле, вот три коровы, вот три телеги. Там — три, и тут — три. Коровы ушли пастись, в телеги впрягли лошадей и увезли их куда-то. Предметы исчезли, а цифра три существует и без них прекрасно и ни в каких телегах и коровах не нуждается.

Ну, это я так, ради любопытства рассуждаю. Вам так математику учить нельзя. Ни одну контрольную не напишете.

Что вам еще рассказать? Хотите, расскажу, как в древности без чертежей и расчетов угадывали нагрузку на арки при строительстве храмов?

* * *

Я проработал в школе всю жизнь. Только директором лет двадцать. Все с детьми, с детьми. Но при этом мы, преподаватели, часто черствеем. Программы, отчеты, совещания. Дети превращаются в средство и перестают быть целью учебного процесса. А он сумел сохранить свежесть восприятия жизни. Сумел остаться внутри молодым. Не засох, не озлобился, не зачерствел. Когда мы поставили его на замены, то не на шутку переживали. Долго не работал, старый холостяк, в возрасте. Ну, сами понимаете... Но первая реакция детей нас ошеломила. Я и сам ходил к нему на уроки. Тишина полная. Муху слышно, как летит. Я детей не узнал. И это был наш вечно шумный 9-й «В»! Да я и сам с интересом слушал. Жалко, что таких учителей мало, что они — редкость.

— Вы смотрите на меня как на очень старого человека. Я для вас почти динозавр, ископаемое животное. А ведь я старше вас всего на сорок — сорок пять лет. Ничтожные числа!

Вы улыбнулись. Ваш мир пока еще незыблем. В нем есть маленькие, старенькие и молодые. И вам кажется, что люди не переходят из одного возраста в другой, а вечно пребывают в одном. Старики всегда были стариками, а вы всегда будете молодыми. Так вам кажется. Возраст для вас — нечто вроде каст в Индии, где из касты в касту перейти невозможно. Но я был молодым, а вы будете взрослыми и старыми тоже будете. Бояться этого не надо.

Кроме того, в душе я такой же молодой, как и вы. Может, даже моложе. Когда я смотрю в зеркало, то удивляюсь, потому что лицо, которое в нем отражается, намного старше, чем то лицо, которое во мне спрятано. Да, да. Вы любите читать? Обязательно

полюбите. Чтение прибавляет человеку ума и опыта без прибавления возраста. Есть такая книга «Вино из одуванчиков». Там одну старушку дети считают вруньей за то, что она сказала, будто была такой же юной, как они. Они страшно на нее обиделись, а по сути они испугались. Ведь если это правда, то им придется постареть, их кожа сморщится, походка станет медленной, от них станет пахнуть лекарствами. Вот они из защитной реакции и ополчились на нее. Сначала она обиделась, посчитала детей злыми и жестокими. Но потом смирилась. Время само все поставит на свои места. Зачем спешить и переубеждать кого-то? Обязательно почитайте эту книгу.

Я вот сказал, что чтение прибавляет опыт не добавляя возраста. Помните? Я приведу пример. Карамзин написал «Историю государства Российского» и работал над ней двадцать лет! Эти двадцать лет он провел как затворник и мученик науки. Получилось восемь томов. Карамзин был Колумбом, который открыл современникам историю своей страны. И вот эти восемь томов однажды, во время болезни, Пушкин прочел за две недели, то есть за четырнадцать дней. Причем прочел, как сам говорит, внимательно. Представляете, какая несоразмерность? Девятьсот веков истории один человек изучает двадцать лет. Его восьмитомную книгу другой человек прочитывает за две недели! Карамзин повзрослел на девять столетий за двадцать лет, Пушкин – за две недели благодаря труду Карамзина. Так мы впитываем чужой опыт, взрослеем, радуемся, страдаем вместе с автором и за один год своей жизни можем повзрослеть на несколько чужих жизней. Чудо, правда?

Сколько осталось до звонка? Ну, вот и посидите тихо эти пять минут.

* * *

Меня никто не воспитывал. Родителям некогда. Друзья, телевизор, компьютер. Все как у всех. А он стал первым человеком, от которого я услышал много интересного и полезного. Причем он говорил с нами глядя не сверху вниз, как старший, а вровень, как друг, который больше видел и больше знает. Длились эти замены не долго, но это самые приятные воспоминания из школьной жизни.

— Люди постоянно влияют друг на друга, постоянно делятся всем, что в них живет. Повезло тому, кто нашел в жизни хорошего учителя. Моим первым настоящим учителем, знаете, кто был? Вы не поверите. Офицер в армии. Служба во времена моей молодости была тяжелая. Гораздо тяжелее, чем сейчас. И от армии тогда никто не увиваливал. Офицеров многие считали людьми ограниченными, солдафонами. А мне повезло. Я был начальником караула, а он — дежурным по части. Пришел ночью проверять посты, зашел в караулку, и мы разговорились. У меня на столе была книга из серии «Жизнь замечательных людей» о китайском поэте Ли Бо. И он, на удивление, проявил к этой книге интерес. Оказалось, что он жил когда-то на Дальнем Востоке, немного знал китайский язык и прочел уйму разных интересных книг. Мы проговорили аж до смены караула. Потом в части несколько раз виделись. Он мне много из истории рассказывал. Говорил, что нужно обращать внимание на детали. Например, стремя у всадника. Кажется, мелочь. Но тот, кто эту мелочь изобрел, смог в бою приподниматься на стременах, сильнее рубить саблей, быть подвижнее. В те времена, когда конница решала ход сражения, подобная мелочь могла привести к захвату огромных

территорий. Я был мальчишка. Мне все было интересно. Честно скажу, больше таких собеседников я в жизни не встречал.

* * *

— Сегодня я шел по коридору и увидел на полу кусок хлеба. Прошу вас, цените еду. Вы еще ее не зарабатываете, но у вас есть ум, чтобы понять, как она дорога, и есть совесть, чтобы быть благодарными тем, кто вас кормит. Сладость хлеба — это доказательство того, что человек не произошел от обезьяны. И вот почему. В случае происхождения от обезьяны человеку не нужно было бы так долго и сомнительно трудиться ради прокорма. Он срывал бы то, что свисает с деревьев, и выкапывал бы то, что растет из земли. Вместо этого он пашет землю, боронит ее, сеет семя, ждет погоды. Его труд всегда ненадежен. Будет много дождя, семя сгниет. Будет много солнца, урожай высохнет. Потом человек жнет, скирдует, обмолачивает. Потом мелет, замешивает, печет. Это очень длинный процесс, для которого нужны ум, терпение, выносливость, благодарность. У арабов слово «хлеб» и слово «жизнь» — одно и то же слово — «айш». В самой главной молитве христиан тоже упомянут хлеб: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь (на сей день)».

Поэтому, прошу вас, будьте к еде вообще и к хлебу в особенности внимательны.

Когда-то давно был один учитель, который дал обет не работать в городских школах, а только в сельских. В селе дети знают цену хлебу больше, чем дети в городе. Но и там случается часто невнимательность, неблагодарность, хамство. Так вот этот учитель требовал, чтобы дети сами сажали на огороде саженцы помидора, редиса, огурцов. Потом требовал, чтобы они ухаживали за тем, что посадили. Ну а в конце был



сбор урожая. Надо было видеть, как дети гордились тем, что вырастили сами, как они защищали свой труд от чужой неосторожности, как делились своими плодами. Учитель хотел, чтобы дети навсегда запомнили цену выращенного овоща, а затем ценили не только то, что вырастили сами, но и то, что произвели чужие руки.

Это касается и любого другого труда. Вы помыли пол. Что вы скажете тому, кто пройдет по вашему чистому полу в грязных сапогах? Ну-ну, не стоит произносить вслух то, что вы скажете. Но вы понимаете? Если в наведенную вами чистоту плюнули, вы готовы драться с этим человеком. Вас обидели лично! А ведь мы часто не задумываясь плюем на чужой труд по несколько раз на дню.

Пробежали по клумбе. А ведь кто-то ее разбил и украсил! Порвали новый пиджак. А ведь он денег стоит и родители заработали на него. Подумайте об этом. Человек обязан ценить чужой труд, и только тогда он вправе требовать уважения к своему труду.

* * *

Моя дочь изменилась к лучшему как-то незаметно. Вдруг стала мыть за собой посуду, хотя раньше от нее нельзя было этого допроситься. Уходя в школу, стала заправлять за собой постель. В общем, ребенок изменился. Она стала серьезнее, ответственнее. Мы не знали, в чем дело. Сначала просто думали, что девочка повзрослела. Думали, прислушалась к нашим требованиям. Оказалось, это их учитель. Если бы сказал кто-то со стороны, что можно так поменяться от нескольких уроков, я бы не поверила. Вот так случайно, на заменах... Это удивительно. Мы все ему очень благодарны.

* * *

— Давайте сегодня поговорим о басне. Человеку всегда хотелось мир очеловечить. Хотелось сравнить все, что вокруг, с собственным миром. Поэтому шум листвы человек называл шепотом, отношения между небом и землей сравнивал с любовью между мужчиной и женщиной. Не думайте, что так поступали люди древние, те, которые кажутся нам неразвитыми, нецивилизованными. Современная наука мыслит так же. Есть, скажем, так называемый антропный принцип в современной физике. Согласно этому принципу, мир сотворен именно в таком виде, что перед взором человека он предстает красивым и гармоничным, как единое целое. Ни у какого другого живого существа нет мыслительного аппарата, позволяющего осознать и ощутить мир как целое. При этом мир создан так, что человек может его познавать и применять практически плоды своих познаний. И скопления звезд ученые согласны называть именами мифологических персонажей. А новооткрытым звездам и планетам дают имена знаменитых современников. То есть

человеку всегда хотелось и всегда будет хотеться оживить окружающий мир, заставить этот мир говорить на человеческом языке. Сюда же относится и басня.

Кстати, мы космос упомянули. А знаете, что общего между космосом и губной помадой? Вот девочки в вашем возрасте уже из дома не выйдут без того, чтобы подкраситься, прихорошиться при помощи туши, крема, лака, помады. Это все мы называем кос-метикой. Слышите общий корень? Космос и косметика. И там и там корень означает «приводить в порядок», «украшать». Космос — это гармоничное и красивое тело. Ну, об этом позже.

Итак, в басне животные говорят на человеческом языке и попадают в ситуации, похожие на ситуации в мире людей. Самый известный автор басен в мире — это...? Правильно. Эзоп. Он был рабом, и купил его на рынке невольников некий Ксанф, считавшийся философом. Эзоп много раз выручал своего заносчивого хозяина, подсказывал ему правильные ответы на каверзные вопросы. Так, однажды Ксанф за обедом, после выпитого вина, пообещал выпить море. А когда протрезвел, пришел в ужас от того, что он пообещал сделать. И Эзоп спас его. Эзоп сказал Ксанфу, что тот обещал выпить только море. А в море непрестанно вливают свои воды большие реки и маленькие ручьи. Пусть, сказал Эзоп, сначала твои спорщики возбранят рекам наполнять море, а ты тогда выпьешь его, но только его, а не еще и другую воду. И вот однажды за обедом опять подвыпивший Ксанф потребовал принести на стол лучшее, что есть в доме. Эзоп ушел на кухню и очень скоро вернулся с блюдом. «Что ты нам принес?» — спросил Ксанф. «Язык», — отвечал Эзоп. «Почему язык?» — «Потому, что языком мы признаемся в любви, произносим клятвы верности, хвалим

богов, декламируем стихи бессмертных поэтов. Все лучшее в мире людей связано с языком». — «Хорошо, — сказал Ксанф. — Принеси нам теперь худшее, что есть в нашем доме». Эзоп ушел и очень скоро вернулся с блюдом. Как вы думаете, что он принес? Правильно, опять язык. А почему? Да потому, что не только все лучшее в мире людей связано с языком, но и все худшее. Давайте попробуем перечислить то злое, что мог сказать хозяину Эзоп, злое, сходящее с языка. Ложь! Правильно. Скверные слова, ругань! Правильно. Что еще? Проклятия! Разглашение слухов! Правильно. Пересказывание чужих тайн. Правильно. А то, что слетает с языка, откуда берется? Из души, из сердца, правильно. Язык — лишь предатель сердца. Язык всегда выговаривает то, что внутри человека живет.

В Библии тоже об этом сказано. Иисуса Христа обвиняли в том, что Его ученики не мыли руки перед едой. Это не был спор о гигиене. Мытью рук приписывали религиозный смысл. Эти омовения должны были, по мысли древних учителей, очищать душу человека. А Иисус Христос сказал, что не еда немывтыми руками оскверняет человека. Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все это зло изнутри исходит и оскверняет человека (Мк 7, 21–23).

Ну вот, мы с вами и до Библии добрались. В следующий раз я подробнее поговорю с вами об этой книге. Не кривитесь и не морщитесь. Вам будет интересно. Библия ведь не книга, а собрание книг. Там есть письма, есть приключенческие сюжеты, хроники, то есть летописи. Есть притчи и загадки, много интересных

историй. Там есть всё. Даже любовная лирика. Вот как вы оживились! Да, само слово «Библия» означает «книги». Не одна книга, а много. Это слово ввел в обиход Иоанн Златоуст в четвертом веке нашей эры. Что является точкой отсчета, до которой длилась «не наша эра», а с нее началась «наша»? Господи, как много вам нужно объяснять и рассказывать! Все сразу не успеем. Вернемся к Библии.

Знаете, однажды умирал великий писатель. Его постель окружили многочисленные дети. Писатель слабым голосом сказал: «Дети, возьмите книгу». Они спросили: «Какую книгу, отец?» — в его библиотеке было множество книг. Но он сказал: «Есть только одна книга, дети. Это — Библия». Так что в следующий раз мы о ней поговорим.

* * *

Следующего раза не было. Учителя один за другим стали выходить на работу. Учебный процесс стал входить в обычную колею. Дети отстали от программы по всем предметам, потому что на заменах им не диктовали в тетрадку, не заставляли выучить определенный параграф, заданную тему. Между математичкой и старым учителем, проводившим замены, даже возник небольшой, но горячий спор. «Вы же математик! Ладно там география или история! Но по математике вы же могли пройти с ними программные темы!» — повышенным голосом говорила она. Он отвечал тише, чем говорила она. Несколько раз назвал ее «милочка моя». Вспомнил зачем-то Льва Толстого, который якобы говорил, что главное — это не знание тригонометрии или французской грамматики, а знание того, что все люди страдают и всех надо жалеть. Чем закончился разговор на повышенных тонах, сказать трудно. Уроки пошли в бешеном темпе,

вдогонку за убежавшей программой. Уже накануне выпускных экзаменов в класс посреди урока вошла директор и сказала:

— Дети, тот преподаватель, который три месяца назад проводил у вас замены, умер.

Класс молчал, словно у каждого во рту была «вода святого Викентия». (Это еще одна история, которую нам успел рассказать человек, который только что умер. Мы все ее запомнили. В ней какой-то монах по имени Викентий давал всем сорящимся супругам пузырьки с водой. Он говорил, что это чудодейственная вода. Стоит только, не проглатывая, держать ее во рту и во время разгорающейся ссоры прочесть пять раз «Отче наш», как начавшееся раздражение угаснет. Простые люди ему верили. Они молились с водой во рту, и так в сотнях семей погасли тысячи ссор.)

Но мы не молились тогда. Мы просто молчали, оглушенные этой новостью, словно набрали в рот воды. Для многих из нас это была первая в жизни смерть знакомого человека. До этих пор смерть касалась кого-то другого. Она постоянно забирала из жизни людей, но мы не знали их. Нам не было по ком плакать. В тот день смерть впервые коснулась нас.

Мы вдруг остро почувствовали, как дорог нам стал Георгий Валерьевич (так его звали), какое важное место он успел занять в наших душах за ту короткую неделю, когда вел у нас замены.

Детское сердце благодарно. Оно суетно, но благодарно. Кажется, что оно забывает все важные события. Но это не так. Оно не забывает, но проявляет их и закрепляет так, как делали это с пленкой и фотографией фотографа в до-цифровую эпоху. Георгий Валерьевич вошел в наши сердца, и весть о его смерти проявила пленку и опустила ее в закрепитель. Мы



сами почувствовали, что «немножко умерли» вместе с ним, как он сам говорил. «Немножко умерли» и продолжаем жить.

Директор ушла, назвав место и время похорон и сказав, что мы можем, если захотим, проститься с покойным. Учительница попробовала продолжить урок, но ее никто не мог слушать, даже если бы и захотел. Девочки стали плакать. У всех в душе, наверное, звучали одни и те же вопросы.

* * *

— Почему самые важные люди приходят внезапно, без предупреждения, и вскоре уходят навсегда?

— Почему самые важные слова в жизни нам говорят не те, кто должен это сделать, а другие люди, посетившие нас как бы мимоходом?

— Почему лучшие люди уходят от нас внезапно и раньше всех?

— Зачем он приходил к нам? Чтобы мы полюбили его и теперь нам было так больно?

— Почему мы так к нему привязались?
— Что такое вообще эта смерть? Откуда она взялась? Ну почему все так, Господи?

Неужели это и есть взрослая жизнь? Внезапные удары без всякой возможности дать сдачу? Мы все беззащитные, да? Мы впервые почувствовали то, что будет нас теперь встречать часто?

* * *

Своего сына в те дни я впервые видел плачущим. Он у меня сильный парень. Боксом занимается. Никогда шони не распускал. А туг... Мы с женой были очень удивлены.

Я долго говорил в тот день со своим Сережкой. Рассказывал о своем опыте, о том, как я терял дорогих людей. Пообещал ему записать Георгия Валерьевича в свой помянник. И молитву показал в Молитвослове, какую по усопшим читают.

В ближайшее воскресенье мы с ним поехали на кладбище. Разыскали могилу учителя, вместе долго молились за упокой его души...

Содержание

254

«Страна чудес» и другие рассказы

Мудрец и проповедник	5
«Где двое или трое...»	15
Кирпич	23
Сказка	31
Лебедь, или Вечер Сен-Санса	37
В маленьком городке на границе	45
Отец Василий	49
Помогите Иисусу Христу!	59
Попутчик	63
Бедный, он всегда бедный	73
Золотая рыбка	79
Случай в бакалейной лавке	85
Совершенно достоверная история	93
Старик	99
Согретье Пасхой	109
Страна чудес	115
У Бога нет мертвых	129
Урок	137
Архиерей и режиссер	151
У меня умер друг	157
Не каждый может быть садовником	163

Греция. Острова	173
Ну что же дальше?	183
Две истории	189
Раздвоенность	195
Судья и священник	199
Школа роста	205
Город, которого нет	213
Старушка	221
Чудаки	227
Учитель	237

Протоиерей Андрей Ткачев
«Страна чудес»
и другие рассказы

Второе издание

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИЗДАТЕЛЬСТВА *архимандрит Тихон (Шевкунов)*

ДИРЕКТОР
ИЗДАТЕЛЬСТВА *иеромонах Симеон (Томачинский)*

РЕДАКТОР *Татьяна Соколова*

ОФОРМЛЕНИЕ *иеромонах Матфей (Самохин)*

БИЛЬД-РЕДАКТОР *Наталья Харитонова*

ВЕРСТКА *Михаил Родионов*

КОРРЕКТОР *Лариса Иконникова*

ТЕХНОЛОГ *Михаил Мыскин*

ФОТОГРАФИИ *архимандрита Тихона (Шевкунова), иеромонаха Арсения (Писарева), иеромонаха Иринея (Пиковского), иеромонаха Матфея (Самохина), Дмитрия Бурцева, Екатерины Громовой, Юрия Губанова, Андрея Дорохова, Владимира Ештокина, Дмитрия Изосимова, Сергея Макаренко, Александра Осокина, Льва Рубинчика, Андрея Саликова, Игоря Сидорова, Натальи Харитоновой, Галины Шульга, а также: сайт «Православная Камчатка», Живой журнал, Сайт священника Константина Пархоменко, Flickr.com, imagebase.davidniblack.com*

Благодарим Екатерину Ткачеву за помощь в подборе рассказов

Подписано в печать 01.03.2013. Зак. № 1303500

Формат 84x108¹/₃₂. Объем 8 п.л. Тираж 30 000 экз.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура NewBaskervilleC.

Издательство Сретенского монастыря

Адрес издательства: 107031, Москва, Б. Лубянка, 19

Интернет-магазин: www.sretenie.com

Книжная торговля Сретенского монастыря: (495) 628-8210

Магазин «Сретение»: (495) 623-8046

arvato
ЯПК

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



**Протоиерей
Андрей Ткачев —**

настоятель киевского храма во имя преподобного Агапита Печерского. Отец четверых детей. Член редколлегии и постоянный автор журнала

«Отрок.ua», один из самых читаемых авторов сайта «Православие.Ru». Ведущий телепередач «На сон грядущим», «Сад Божественных песен» (телекомпания «Киевская Русь»). Автор книг: «Мысли о покаянии», «Миссионерские записки», «Мы вечны», «Лоскутное одеяло», «Смотри, небо становится ближе», «Приготовление к смерти» и др.

Рассказы, статьи и беседы отца Андрея посвящены вечным вопросам — жизни, веры, счастья. Автора отличает нестандартный подход к самым разным явлениям действительности.

ISBN: 978-5753307705



9 785753 307705